

Иван ЯЦУК



18+

ПОСВЯЩЕНИЕ В МУЖЧИНЫ

Новеллы, рассказы

Иван Яцук

Посвящение в мужчины

«Автор»

2019

Яцук И. М.

Посвящение в мужчины / И. М. Яцук — «Автор», 2019

Сборник лирических рассказов и новелл, посвященных разнообразным сторонам человеческого бытия. Драматические истории, интересные случаи, написанные хорошим литературным языком - все это поможет читателю скоротать свободное время.

© Яцук И. М., 2019

© Автор, 2019

Содержание

Посылка от сына	5
Слезливая Булка	12
Вечер танцев.	16
Венгерская рапсодия	22
Чужие	37
«Легкое дело» Николая Кулиша.	44
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Иван Яцук

Посвящение в мужчины

Посылка от сына

У пенсионеров Антона Васильевича Бойчука и его супруги Галины Федоровны, несуетно живущих на уютной херсонской улочке, появилась еще одна причина благодарить Бога. Тихим осенним вечером юркая, нестареющая почтальонша Паша принесла извещение о посылке.

Словно святитель послал голубя с долгожданной вестью о сыне. А то ведь старики совсем уж пригорюнились. Больше двух лет от Феди— ни слуху ни духу.

Казалось бы, чего проще: открыточку там какую-нибудь или письмецо на десяток слов— и у родителей отляжет от сердца. Так нет же, как будто в воду канул. Телефона у стариков нет, и у соседей тоже нет, так ведь можно, например, через сослуживца передать или с другой какой оказией. В мире сейчас так неспокойно, так тревожно, грянули большие перемены, люди ожесточились, рвут друг у друга нажитое, делят. И мало ли что может случиться? А Феденька был и остается их единственной радостью и вечным утешением, хоть ему уже и за тридцать, далеко за тридцать.

— Ну что, бабка?— весело говорил Антон Васильевич, со старческой молодцеватостью похаживая по комнате и даже как-то пританцовывая.— Нечего воздух зря портить. Давай сразу и готовиться. Завтра с утра поработаем и двинем потихонечку, а? Придумай только, что мне одеть по такому случаю. Я давно уже на людях не был.

В доме запахло праздником. Старики и позабыли, когда задавались вопросом, что одеть. Теперь Галина Федоровна радостно перебирала их нехитрый гардероб, прикидывала, что и как, со счастливым лицом вспоминая, казалось, навсегда утраченные навыки. Мужу отобрала синий строгий костюм, припасенный на самые— самые торжественные случаи, если таковые еще будут в их плавной, бедной на события жизни, и «на смерть». Себе долго примеряла юбки и кофточки, давно вышедшие из моды, задыхаясь от пыли и нафталина, а еще больше— от нахлынувших чувств и воспоминаний. Вот этот серый элегантный костюмчик, делающий ее похожей на учительницу, подарили на работе к пятидесятилетию. Боже мой, сколько было улыбок, теплых слов, губной помады на увядающих щеках, забывших о поцелуях! Банкет, цветы, опять горячие поздравления и пожелания. Жаль, для жаркого нынче сентября он тяжеловат. А юбку из черного, дефицитного тогда велюра она сшила еще раньше— незадолго до серебряной свадьбы. В сочетании с белой кофточкой в больших кружевных воланах это было так романтично, как говорили подруги по работе! Может, немного льстили, но тот комплект ей самой очень нравился. Какие теперь воланы?!

— Галя!— кричал из другой комнаты муж,— представляешь, нога усохла. Примерил новые туфли, выходные, а они болтаются, как рукава у инвалида.

— А что ж ты хотел?—откликнулась жена благодушно,— в армию тебе, что ли?

— В армию— не в армию, а когда такие события случаются, то и чувствуешь годы. Да, много уже на спидометре намотало. (слышно было, как Антон Васильевич громко топает ногами в туфлях, прохаживаясь по комнате для проверки) — Ничего, ваты набью, сойдет. А ты заканчивай тоже с примеркой. Поужинаем— и на боковую. Завтра— большой день, встанем пораньше.

— Сейчас, Антон, сейчас,— растроганно отвечает Галина Федоровна, перебирая дорогие сердцу наряды,— вот полюбуюсь на свою молодость— и опять на несколько лет, а, может, и навсегда. И будем ужинать. Консервочку мясную откроем по такому случаю, винцо у нас есть.

– Ну ты собирай на стол, а я пройдусь немного, – сказал Бойчук. – Что-то на сердце волнительно, надо унять.

– Смотри, недолго, – ласково предупредила Галина уже из кухни, и, словно стесняясь, добавила, – мне одной скучно сегодня.

Антон Васильевич вышел за калитку. Впевые за несколько лет просто так, без всякого дела. Природа тоже отдыхала. Стоял тихий-тихий вечер в предверии бабьего лета. Воздух, особенно гулкой в такие часы, передавал малейшие звуки: звонкие детские голоса, далекий шум автомобилей, скрежет тормозов на шоссе. Листья орехов, кленов и каштанов уже не дремлют сонно, а живо лепечут что-то свое, и в верхушках высоких тополей уже слышно глухое бормотание осени. Закурчавились листья каштанов, края их стали коричневыми, багряными, медными, лишь кое-где зелеными еще остались осевые жилки. Седина листвы – бледная изжелть, пока еще редкая, появилась и на вишнях, и на абрикосах, и на акациях.» Все, как у людей, – подумал Антон Васильевич, вздыхая. – Да, всему свое время». Он неторопливо прошел еще несколько кварталов и повернул обратно.

Темнело. На ночные стоянки мимо него шмыгали автомашины; с потными, розовыми лицами возвращались мальчишки с мячами в руках, спешили с авоськами запоздавшие женщины – мимо Антона Васильевича текла жизнь, и он радовался, что был ее частью.

Дома они поужинали, потом по очереди прочитали извещение, словно убеждаясь в надежности того, что они сегодня прочувствовали. Пока жена убирала на кухне, Бойчук снова вышел во двор. Уже стояла ночь. Вспомнилось очень далекое, еще из школы: «...тиха украинская ночь...». Она, действительно, была тиха, спокойна, величественна. Пахло ночной фиалкой, еще трещали цикады и кузнечики, и над всем этим стояло огромное небо с жемчужной россыпью звезд. Антон Васильевич поднял голову и долго смотрел вверх.

– Знаешь, Галя, – сказал он, заходя в дом, – я сейчас смотрел на звезды. Уже и не помню, когда последний раз на них смотрел. Все в землю да в землю. А знаешь, надо почаще смотреть на звезды, сколько лишнего тогда уходит от человека! Я где-то об этом читал, но сейчас убедился, как это правильно. Федя и в этом мне помог. Сегодня прямо-таки все приметы хорошие. Ну что, будем спать?

Старики улеглись спать, но заснуть долго не могли. Вспоминали былое, вспоминали детство сына, и как-то уютнее становилось двум людям от того, что есть еще кто-то, кто помнит о них, кто поможет, если будет очень уж трудно, позаботится об их старости и вспомнит добрым, благодарным словом после, когда они уйдут.

...Они выстрадали сына. Встретились Антон и Галя на далекой казахстанской земле. Оба – по комсомольским путевкам, первые целинники. Хлебнули всего. Свиданничать да ворковать было некогда. Перед свадьбой мечтали о большой семье, да не судьба. Морозы, неустроенность, тяжелые мешки повредили что-то в женском организме бойкой Гали, и никак не удавалось благополучно разродиться. Красивому, крепкому Антону по-дружески нашептывали подыскать жену понадежнее, но тот, молча выслушивая советы, на предательство, как он выразился, не пошел.

После десяти лет целины Бойчуки переехали в Херсон – к родителям Гали. Наверно, целебный воздух родины и отчего крова – не пустые слова. Через год родился сын. Назвали его в честь Галиного отца Федором. Когда Антон убедился, что сын жив-здоров, то объявил родителям, что будет обособляться. Как Федор Петрович ни уговаривал, зять был непреклонен:

– Хочу иметь собственное гнездо, я – не калека, не инвалид, впереди еще большая жизнь, и у сына должен быть свой дом.

Через три года отпраздновали новоселье, правда, Антон исхудал, стал горбиться, открылась язва: то ли казахстанское наследство, то ли приобретение застройщика. Но душой хозяин был спокоен. Дом – небольшой, как все тогда строили, но зато земли нарезали восемь соток в черте города, хоть и на окраине. Бойчук устроился на заводе стеклотары по основной своей

специальности— трактористом. Возил из цеха на склад поддоны со стеклобанкой, марблитом (это такая стеклянная отделочная плитка), а когда надо было, то и прицеп с мусором его трактор таскал, и много других хозяйственных, нужных дел совершил тракторист Бойчук, прежде чем отправиться на заслуженный отдых. Много похвальных слов он выслушал на прощанье и от начальства, и от своих товарищей по труду.

А в свободное время Антон Васильевич хозяйничал по дому. Это легко сказать— отпраздновали новоселье. А сколько еще пришлось приложить рук для нормального обустройства?! И забор надежный поставить, и летнюю кухню, чтоб жене поудобнее было, и веранду, и сад заложить с толком. И все не за один день, и все с оглядкой на заработанные средства. Долго копейки лишней в доме не было, несмотря на то, что и Галя опять работала ткачихой на хлопчатобумажном комбинате, откуда она и поехала в Казахстан. Все Антон делал сам, своим горбом, сэкономил каждый рубль.

А Федя тем временем подрастал. Отец любил его безмерно; любил, когда сын вертелся у колен, расспрашивал о том о сем, просил показать, как и что делается. Как ни занят был Антон, а все же терпеливо показывал, как держать фуганок, как строгать доску, как обрезать яблоню и многое другое, что умел сам. Но видно не в коня корм. Не всегда Федя крутился возле отца, а только тогда, когда можно было чем-то полакомиться, когда что-то созрело.

— Папка, папка, смотри,— радостно кричал сынишка, глядя счастливыми глазами вверх,— абрикоска уже поспела, сбей ее мне!

Отец откладывал самую неотложную работу, брал длинную палку и долго высматривал, где же она — эта спелая абрикоска.

— Да вот же она, вот,— кричал красный от нетерпеливого желания Федя, тыкая коротким, толстым пальцем куда-то в густую листву. После долгого поиска отец все же находил заветную абрикоску, удивляясь про себя, какую же это надо иметь остроту зрения, чтобы приметить на самом верху дерева среди сплетения листьев и веток один зардевшийся бочок абрикоса.

А в остальное время хозяйственные заботы отца мало волновали Федю. Как ни пытался показать Антон сыну прелесть расцветающей сирени, или как из грубого, шершавого бревна выходит гладенькая, пахнущая лесом доска, а затем, например, удобный табурет или тумбочка; или как иногда смешно кролик уплетает свою траву, или как успокоительно и чудесно журчит вода по искусно сделанным желобам и каналам, и как благотворно она влияет на рост всего живого— ничто подобное Федю не интересовало.

Больше всего Феде нравилось дразнить соседских мальчишек и девчонок. Время тогда было трудное. Семья у соседей большая и без рано умершего от фронтовых ранений отца. Федя намажет кусок хлеба толстым слоем масла или меда, выйдет на улицу и ест, с удовольствием наблюдая, как дети судорожно глотают слюну. Уже и лупила Галина Федоровна своего сына и уговаривала и стыдила— ничего не помогало. Сама она частенько подкармливала детей Ефросиньи: то по яблочку даст, то несколько гроздьев винограда для них сорвет, то булочкой угостит. Но все-таки главная забота— о Феденьке. Ему ни в чем отказа не было.

Став парнем, Федя Бойчук бросил свои детские проказы. Ему было достаточно, что он был сыт, одет лучше своих сверстников, его дом всегда ухожен и наряден в отличие от соседей. Учился Федя спустя рукава, к делу какому—нибудь пристрастия не имел, потому, уйдя в армию, Бойчук там и остался, сперва сверхсрочником, потом после ускоренных курсов получил офицерское звание. Правда, в письмах стал жаловаться, что его не понимают, что начальство его трудов не замечает, придирается по пустякам. А последние два года и совсем замолчал.

И вот, слава богу, долгожданная весточка. Им, старикам, совсем не нужны никакие подарки. Важнее знать, что есть на свете их сын, что с ним в все порядке, что он их помнит. Может, внучата приедут— это было бы совсем хорошо. Тогда и жизнь приобретет новый смысл.

Утро ранней южной осени выдалось такое благодное, такое прозрачное, такое благоуханное, полное мягкого света и воздуха, небесного простора и сини, что хотелось подольше побыть

наедине с этой красотой, с этим умиротворенным садом с открывшимися далями, подставить лиц нежнейшему теплу убывающего солнца и жить, жить, радуясь чудесному существованию на этом белом свете.

Еще ни свет ни заря, а хозяин уже в саду, в огороде. Земле надо давать больше, чем от нее берешь— таков извечный закон сохранения и приращения богатства земли, закон истинного земледельца. Все последние годы Антон Васильевич больше вкладывал, чем получал. Зато земля у него жирная, как сало, и мягкая, податливая, как пух, и плодородная, как нигде окрест: палку кинь— и та зацветет. Праздные люди иногда удивляются: откуда, мол, такая плодovitость? Пересмешник мог бы сказать— от верблюда, а серьезный человек только одобрительно покивает головой и восхитится, сколько надо положить труда и пота, чтобы добиться такого чуда.

Сперва Антон Васильевич полил все, что требовало полива: и второй засев картофеля, и петрушку, и помидоры. И отдельно— астры, хризантемы, георгины, которые сейчас в самой силе и красоте. Их Антон Васильевич растит «для души». Все это надо полить до полного восхода солнца.

Потом он срезал тяжелые, холодные, словно скульптурные, гроздья «Молдовы», нежной «Лидии», душистого «дамского пальчика». Что-то пойдет на стол, остальное Галина Федоровна снесет на базар и долго с таким товаром стоять не будет. Затем Антон Васильевич косил траву для кур и нескольких уток, выкопал несколько лунок под будущие саженцы, спилил усохшую черешню и стал выкапывать весь толстый жилистый ее корень.

Поднял голову, когда дала себя знать поясница. И опять огляделся, опять удивился красоте земной. Солнце стояло высоко и роскошно, а в голубых складках неба еще стыдливо пряталась луна, бледная и едва видимая. Иногда она была похожа на голову медузы, плавающей в лазурном, спокойном море где-нибудь в Железном Порту или возле Скадовска. Антон Васильевич вспомнил, как величаво стояла та луна вчерашней ночью, как царственно струила свой серебряный свет на все сущее и опять подумал: «да, всему свое время и место. Вот и он с Галей когда-то «горели», а теперь приходится уповать хотя бы на весточку от сына— единственное утешение». Эта весточка грела его все утро. Что бы он ни делал— всегда думал, что главная радость еще впереди. «Еще немного покопаюсь и тогда уж совсем пойду»,— сказал сам себе Антон Васильевич, но увлекся и проработал до самого полудня. «Попадет мне сейчас от жены»,— думал он, направляясь к дому, радуясь даже этой возможной нахлобучке.

— Ну что, перекусим— и айда?—спросил Бойчук с нарочитой деловитостью.

— Я только-только закончила убирать в доме и хотела тебя уже кликать,— несколько виновато ответила Галина Федоровна, сама ожидавшая недовольства со стороны мужа.— Давно хотела сделать генеральную уборку, да сил все не хватало. Но сегодня такой день... летаю, как на крыльях.

Однако, сентябрь, он и в Херсоне сентябрь. Откуда ни возьмись, ветер сделался сырым и холодным, по небу пошли угрюмые, косматые тучи, загромыхало, и обрушился сильный дождь— почти летний ливень.

А старики совсем уже собрались.

— Может, не пойдем сегодня?— неуверенно, полувопросительно сказал Антон Васильевич, глядя в окно.

— Что ты?!— прикрикнула на него жена. В ее голосе не было и тени сомнения.—Сейчас и пойдем, зонтик вот только найду.— Ишь, чего выдумал,— она передразнила мужа,—«не пойдем». А вдруг там продукты? И почта закроется, например, на переучет. Они на это мастера. И что тогда сын скажет: «я старался— старался, а они не соизволили даже вовремя получить». Вот что он скажет. Нет, собирайся, дедушка, и потихонечку потопаем. Дождик совсем летний, не сахарные, небось.

Зря жена так его отчитала. Он спросил для блезира, ради нее же. А сам...сам он готов пойти и в бурю, и в мороз, хоть на край света, чтоб только потрогать вещи, к которым прикасались руки его сына, почувствовать их тепло.

Бойчуки бесстрашно двинулись в дорогу, хотя ливень часто и густо лупил их по плечам и больным коленям, которые стали бояться холода и воды. Зонтик оказался маленьким, летним, одного человека и то он мог прикрыть с трудом. Когда они наклоняли зонтик вперед, вода текла им на спину, и порывистый, злой ветер закручивал струи дождя прямо под зонт. Когда же старики пытались прикрыть свои ревматические спины, дождь хлестал по коленям, по тем коленям, что и без того ныли по любому поводу. В другой раз старики поостереглись бы, чтобы хворь не одолела совсем, но сегодня был не тот случай, когда надо считаться с собой.

– Нужный дождик, – утешал жену Антон Васильевич. – озимые сеять в самый раз!

Ему хотелось, чтобы сегодня все знаки были благоприятными, даже небесные. Ну и подержать жену, само собой.

– Ты смотри, куда ступаешь, – в ответ ворчала Галина Федоровна. – Уже все брюки мокрые. Туфли хоть не промокают?

– Пока сухие, – слегка приврал Бойчук, чтоб она не беспокоилась по пустякам.

Так они дошли до почты. Торжественного выхода, конечно, не получилось, как они планировали тайно. Никто их не спрашивал, куда и зачем они идут, чтобы муж с женой могли степенно ответить, что идут получить посылку от сына; никто не хвалил Федю за сыновью заботу; не было перед кем по-стариковски погордиться. Но ведь это и не главное. Главное, что у них сегодня маленький семейный праздник – только у них и ни у кого другого.

– Да-да, есть такая посылка, – улыбаясь, подтвердила пожилая работница почты, сознавая, что для стариков, видимо, это очень важно, раз выбрались в такую непогоду. – И пахучая такая – прелесть!

– Это от сына, – многозначительно сказала Галина Федоровна, принимая небольшой деревянный ящик, источающий аромат.

– Хороший у вас сын, заботливый, – согласилась работница и с одобрением закивала головой, думая, наверно, о чем-то своем.

Посылка, действительно, благоухала, но старики долго не могли распознать этот запах. Наконец, уже на полдороге Галина Федоровна догадалась, что это апельсины. У Бойчуков к зиме запасалось много всяких фруктов и во всяком виде. Потому они и не покупали ничего иностранного. Да и дорогая это штука – апельсины, не по карману пенсионерам. Потому долго и не могли определить этот запах. Но все-таки хоть изредка, но эти «иностранцы» бывали у них в доме. Поэтому Антон Васильевич знал, апельсины все же не имеют такого густого, благоухающего запаха. Видно, это был какой-то особый сорт, редкий и дорогостоящий.

– Ну что, мать, сегодня побалуемся апельсинчиками? – с некоторым вожделием сказал Антон Васильевич, уже не обращая внимания ни на дождь, который теперь лишь назойливо моросил, ни на лужи, ни на мокрые ноги. Посылка оправдывала все тяготы.

– Ты бы враз все и съел, – резонно заметила жена, тоже посветлевшая от радости. – Переберем, что похуже – съедим, а остальное отложим. Говорят, апельсины хорошо хранятся. Тебе лекарство сделаем, апельсины хорошо помогают при застуженных, как у тебя, почках, я в календаре читала.

– Ты у меня умница, – добродушно согласился Бойчук. – Притащимся – опять винца выпьем, я что-то продрог. Как бы не заболеть – еще столько работы в саду.

– Не каркай, – коротко отреагировала Галина Федоровна. – Сегодня ты не заболеешь – по себе чувствую.

Вот наконец и дом. Подустали все – таки старики. Сын не поскупился: тяжелехонька оказалась посылка. Да и не столько тяжелая, сколько неудобная какая-то: спереди нести – мала,

под мышкой – широкая, кожа трется о срез ящика; на плече – оно начинает ныть и рука затекает. Так всю дорогу и несли попеременно разными ухватами.

Однако, донесли. Антон Васильевич бережно положил посылку на стол, завершив свой труд завершающим движением фокусника или официанта дорогого ресторана.

– Груз доставлен точно по адресу! – озорничая, провозгласил он голосом конферансье.

Они не стали сразу открывать посылку, а неторопливо разделись, облачились в удобную домашнюю одежду, согрелись, отдохнули и уже затем приступили к церемонии открытия сыновьего дара.

Антон Васильевич взял инструмент, походил вокруг стола, примериваясь, как сделать лучше и стал осторожно поддевать фанерную крышку. Густой апельсиновый дух поплыл по комнате. Но изощренный нос садовода различил и другой запах – гнили и плесени.

– Подпортились немного, – вслух сказал Антон Васильевич, сожалея, что придется, наверно, выбросить несколько драгоценных плодов.

– Открывай уже, не томи душу, – поторопила Галина Федоровна. – Вечно ты со своими опасениями лезешь. Что с ними станет за три-четыре дня, прямым поездом доставлено.

Муж ничего не ответил и продолжал возиться с проволокой, которой плотно был окантован ящик.

– Так и надо, – одобрительно говорил он сам себе, – ящик может упасть с полки, а так надежнее, вернее, родителям все-таки...

Наконец, крышка открыта. Оранжевое вырвалось наружу, ударило в больные старческие глаза, осветило жилище загадочным чужедальним блеском. Старики так сгорбили спины, так вытянули лица, так устремили взгляды, словно разыгрывали какую – то шуточную сценку перед многочисленной аудиторией.

Сверху лежала апельсиновая кожура. Много, много кожуры, толстой, мясистой. Именно эта пористая, губчатая, цвета холодного заходящего солнца масса источала дурманящий запах спелых апельсинов – целые апельсины так не пахнут. Галина Федоровна мягко отстранила мужа и запустила руки в это виртуальное пламя, заполнявшее весь ящик. Добрые, натруженные руки матери искали нечто основательное, твердое, округлое, а сквозь пальцы шуршали только корки, обрывки, обрезки, очистки кем-то съеденных плодов; обрывки несбывшихся надежд, черствые корки ночных утомительных бдений и переживаний, обрезки ожидавшегося счастья, плоские очистки труда, тяжелого, повседневного, черного труда и неисчислимых забот, заплесневевшие кусочки приближающегося конца. Все это прошелестело, прошуршало сквозь пальцы Галины Федоровны и замерло.

– Одна кожура. Чтож это в самом – то деле? – из ее глаз готовы были брызнуть слезы.

Муж недоуменно повертел ящик: может, это не их посылка? Нет, все правильно: Бойчук А.В. И обратный адрес: г. Калининград, Бойчук Ф. А.

– Здесь ничего больше нет, – потерянно сказала Галина Федоровна дрожащими, побелевшими губами.

– Да здесь еще и письмецо есть! – обрадованно воскликнул Антон Васильевич, надеясь хоть как-то утешить упавшую духом жену.

Оказывается, к нижней стороне крышки прилип небольшой листок, исписанный мелким, торопливым почерком: « здраствуйте маи старички. Извените, что долго не писал. Особо ничем хвастаца. Из армии пришлось уйти, хотя до пенсии оставалось нимного. Очинь жалка, но эти абармоты миня всетаки достали. Сичас устроился на овощной базе кладовщиком. Хазяин торгует апельсинами, мандаринами, лимонами и другими фрухтами. О них вы дажи не имеее понятия. Платит харашо. И едим эти цытрусовые, сколько влезит. Уже дажи надоели. Корки мы складывали в ящик. Теперь он полный, некуда дивать. Ала хотела уже выбрасывать, но я догадался, давай говорю, чтоб саседи не видели, что мы едим сплавим потихоничку моим или твоим старикам. Алыны отказались. Так что зимой пейте чай, это очинь палезно. Жена говорит,

что можно даже сделать цукаты или варенье. Если получица многа, можете выслать нам. Мои шалапаи все съдят. Извените если что отойдет, некогда перебирать. Пака все. Летом я хачу прислать вам дитей. Напишите есть у вас деньги им на обратную дарогу. Очинь накладна в две стороны. Цылую. Федя».

Сперва письмо прочитала Галина Федоровна, потом молча передала мужу. Антон Васильевич, несколько торопясь, с непривычной для него подвижностью водрузил очки и забегал глазами по строчкам. Закончив читать, поднял голову и некоторое время просто молчал, держа листок в опущенной руке.

– М-да-а,–наконец произнес он.– Видите ли, догадался...– и посмотрел на жену, сидящую неподвижно на диване, мудрым, всепонимающим взглядом, приглашая ее к разговору.

Но Галина Федоровна не захотела понимать этот взгляд, не желая развивать тягостную тему.

–А все-таки радость– внуки приедут,– сказала она, словно уговаривая и подбадривая себя.– Давай, дедушка, будем готовиться. Я сейчас быстренько все это переберу. Неровен час, соседи нагрянут– объясняйся потом. Может, и цукаты эти самые получатся.– Галина Федоровна тяжело, натруженно поднялась и подошла к столу.

Сверху корки были свежие, сочные, яркие, а дальше пошли все суше, темней, а на дне лежали и вовсе кричевые, с пятнами плесени, иссушенные до трухи. От посылки осталась небольшая горка. Ее Галина Федоровна оставила на столе. Остальное смела опять в ящик и вынесла в сад, где Антон Васильевич вырыл специальную яму для перегноя.

Ночью, лежа с открытыми глазами, Галина вдруг, как будто ни с того ни с сего сказала:

– Ты говоришь, что я тебя переживу,– она сделала долгую паузу,– а я не хочу ни одного дня прожить после тебя. Ни одного. Мне всю жизнь радостно было...И боязно, что мы могли не встретиться. Мы хорошо прожили свой срок.

– Ну что ты, Галя, затеяла этот разговор,– ласково возразил муж, которого тоже не брал сон. –Нам и семидесяти еще нет. Ты же сама говорила: смотри, мол, дядька Андрей помер около девяноста лет, бабе Нине тоже около этого, а еще при уме. Нам жить и жить еще!

– Одни мы с тобой, Антон, на белом свете,– с горестной убежденностью продолжала Галина.–Одни-одинешеньки. Думалось, что на старость лет сын у нас есть. Нет, одни мы с тобой, Антон, одни! Не подмога нам сын, не подмога.

Антон Васильевич услышал, как впервые за много лет, жена плачет. Он не стал ее утешать. « Пусть поплачет,– подумал старик, тоже растроганный,– пусть поплачет– легче будет».

Слезливая Булка

Роскошным октябрьским утром 1998 года по улице большого украинского города шла девочка. Лет шести–семи, не больше. За плечами у нее висел ранец, на голове бант; платьице на ней хотя и не новое, конечно, но его очень хорошо пригнали по фигурке, ушили, подрубили, и оно выглядело совсем, как новое. Сразу видно – мамина дочка.

Походка у нее хоть и не торопливая, но уверенная: девочка знала, куда идет. Неторопливая оттого, что отличное настроение, и утро чудесное, и впереди еще – вся необъятная жизнь со всеми ее чудесами и радостями. Взять сегодняшнее утро. Такого трудно и придумать. Ну как не быть счастливой в такое утро, не радоваться жизни, не зыркать глазами во все стороны; как можно не любить все это, всех людей на свете, и кошек, и собак, и разноцветный кленовый лист, и все, все, все?

Разве можно торопиться в такое волшебное утро, это просто неприлично по отношению к такой сказочной красе. Оля, так звали девочку, решила, например, со всеми здороваться. А что в этом плохого? Вот идет навстречу хлопотливая тетенька, ничего за своими грустными мыслями хорошего не видит, а она, Оля, ей: «Здравствуйте!». И тетенька расцветает, широко улыбается и отвечает: «Здравствуй, здравствуй, девочка». И дальше идет в совсем другом настроении. Или мужчина какой-нибудь серьезный – пресерьезный. Мчит, не разбирая дороги, взгляд вверх голов или, наоборот, землю изучает. А она ему озорно: «Здравствуйте!». И дяденька удивленно приостанавливается: откуда, мол, она его знает? Глаза его теплеют, он тоже начинает улыбаться. А Оля его совсем не знает, просто ей хочется, чтоб всем в это красивое утро было хорошо и радостно, и чтоб все улыбались.

Жизнь совсем была бы преотличная, если бы кишки марш не играли. Мама сегодня на завтрак дала ей маленький – премаленький бутербродик с маслом и сыром. И чай почти не сладкий. Ну что это для ее растущего организма? Почти и совсем ничего. Наверно, все уже переварилось внутри. Все вкусное у нее очень быстро переваривается. Не успеешь глазом моргнуть – а оно уже переварилось и просит добавки. И как только мама обходится без завтрака?! До обеда – ой – ей – ей сколько ждать и ждать.

Нет, надо думать о чем-то другом. О куклах, например. Скажешь Даше и Варе: «Дети, на ужин будет манная каша, приготовьте салфетки, чтобы не запачкаться. И без всяких «не хочу». И не совать ногами, понятно? Я по лицу вижу, что Даше конфет хочется или шоколадки. Нет, у меня с этим строго. Я ей говорю: «Ты, Даша, непонимаешь, что мне надо и хлеба купить, и колбаски тебе на бутерброды, и картошка уже закончилась, что бабушка принесла. И сахар неизвестно куда исчезает – не запасешься. А ты со своими конфетами мне сердце рвешь».

Кстати, надо бы стихотворение повторить. Учила, учила, а оно, противное, твердо не запоминается. понимаеучительное какое-то стихотворение. Надо бы подучить, а то мысли или о конфетах, или о булочке, что в ранце лежит. Прямо спасу нет. Неужто она, как Даша какая-то.

Девочка останавливается, снимает ранец, который, хотя и новенький, но тяжеловат, вынимает книжку и быстро пробегает глазами по нужной страничке. Потом безмолвно шевелит губами, снова несколько раз подсматривает в книжку и наконец удовлетворенно кладет ее опять в ранец, откуда, как назло, вкусно пахнет от двух кусочков молочной колбаски. Эх, как далеко еще до этой самой до большой перемены. Ужас. И вообще, зачем на белом свете существуют вкусные вещи, если их сразу нельзя съесть?

Девочка вздыхая, опять надевает ранец и шагает дальше. Вот и перекресток. Мама ей крепко – накрепко приказала быть осмотрительной при переходе улицы. Еще чего?! Будто она какая-нибудь кукла Варя, которой подолгу надо вдалбливать простые вещи. Смотрю налево – нет машины. Поворачиваю голову направо – тоже нет ничего опасного. Значит, можно идти.

Даже на всякий случай подбежать немного, чтоб маме потом доложить, какая она была осторожная.

Сегодня она впервые идет в школу одна. Маме приказали быть на работе пораньше. Потому мама чуть сильнее обычного ее расцеловала и со слезами на глазах наставляла никуда не сворачивать, при переходе улицы держаться какой–нибудь тети и вообще «Солнышко ты мое ненаглядное, радость ты моя единственная, вот и тебе, кроха, приходится взрослеть раньше времени». И слезинки кап... кап... Даже стало жалко ее, сама чуть ни разревелась, только стыдно было, что Даша и Варя смотрят. Ну что тут такого–пройти две небольших улицы и одну большую?! Вот мама трусиха! Я так со своими не нянчусь. Они у меня, как шелковые. Я им строго так говорю: «Дочки, у вас папы нет, забарывся где–то ваш папа, вы поэтому должны расти самостоятельно, хорошо учиться, слушаться мамы, не бояться черной работы. Это всегда в жизни пригодится. Лучше уметь, чем не уметь». Я их и зубы заставляю вовремя чистить и не лишь бы как. И кушать все, что я им приготовлю, и не кривить губы, и не оставлять ничего в тарелке. Это все тяжело достается. Вот как я их учу. Мама иногда слушает наш разговор и улыбается: «Из тебя, наверно, хороший учитель выйдет». Может, и учитель, а может, и певица. Я и петь и танцевать могу, как в телевизоре. Мама смотрит на меня и не нарадуется: «Веселая ты у меня растешь»,–говорит и прячет глаза. Я и в самом деле веселая. Вот и школа близко. Надо опять стих повторить–Галина Ивановна строгая у нас.

Оля снова шевелит губами, пытаясь повторять «с выражением». За это учительница ставит лучшую оценку и даже прощает некоторую забывчивость, если та случается.

Хорошо, когда у Галины Ивановны хорошее настроение. Она тогда добрая, ласковая, прохаживается неторопливо между рядами, заглядывает в тетради учеников, мягко пальцем показывает на ошибки, пометки всякие. И тогда так тепло, так уютно в классе, и совсем не страшно, если чего–то не понимаешь, и хорошо все запоминается. А иногда Галина Ивановна и старается быть, как всегда, а у не это плохо получается. Можно сказать, на «слабую четверочку». Лицо такое озабоченное–озабоченное, темное, и в голосе совсем нет теплоты, а только нервность и скороговорка. Точно как у мамы, когда не ладится на работе. Тогда на кухню хоть не заходи. И дочка все не так как надо делает и жизнь «Повеситься, что ли?» Оля тогда сидит притихшая, маленькая, и ничего тогда в голову не лезет; только и думаешь, как маму развеселить. Тогда оценки только и помогают. «Мама, а я пятерочку сегодня заработала». Мама сперва через силу улыбается, но постепенно тише гремит посудой и не так быстро мечется по кухне, а потом буря и вовсе утихает. И опять все хорошо в их маленькой квартире.

Вот уже и школьные ворота. Как быстро доходишь до школы, когда на душе легко! Хорошо бы так и домой возвратиться.

Когда начался урок, Оля сразу поняла, что учительница «не в духе». Галина Ивановна нервным взглядом окинула класс, поставила «н» против фамилий Лещенко Игоря и Светы Шестак, которые отсутствовали, и села на стул. Щеки ее были в красных пятнах–что–то серьезное, видимо, случилось у нашей Галины Ивановны, если она так часто и глубоко дышит. Наверно, и на стул присела, чтобы успокоиться, но отдышаться все не могла. А губы, губы–то как дрожат–вот–вот учительница расплечется. Какая там арифметика, если у тебя такие губы. Такое замечательное сегодня утро, только радуйся – и вдруг эта рука, бессмысленно шарящая по столу в поисках ручки, которая совсем рядом. Галина Ивановна, миленькая, ну пропустила бы урок–другой–ничего бы с нами не случилось. Ну сказала бы, что ухо болит–вот оно красное какое, прямо горит. Или горло. Можно несколько раз кашлянуть для убедительности. Это же так просто. Ну не все же мы должны знать, можно немножечко и упустить что–то, потом как–нибудь дознается. Мама говорит, что почти ничего не помнит, что в школе учила, а, поди ж ты, справляется. И мы справимся. А мучить себя нельзя. И учение впрок не пойдет. Я на следующем уроке начну стишок рассказывать, как хорошо на свете жить, а у Галины Ивановны, может, муж ушел из дому, как мой папа. Или, не приведи господь, ребеночек заболел. Может

после этого учительница оценить, с каким выражением она будет читать наизусть? Это все равно, что просить маму купить мороженое, когда приходит бумажка платить за воду или электроэнергию. К маме тогда не подходи. А Галине Ивановне надо сейчас унять дрожь в губах и рассказывать, как вычитать одно число из другого.

Но Галина Ивановна – молодец. Встряхнула головой, отбросила все посторонние мысли и вызвала Лешку Золотаренко к доске. Мягко подсказывает ему, и Леша начинает кое-что сообщать. Только в одном месте учительница чуть поторопила его, и шустрый на переменах Золотаренко теперь поник и опять ни «бэ» ни «мэ». Вот что значит настроение учительницы. Нет, с этим надо бороться. Скольким людям будет плохо, если она сейчас же не примет решительных мер. Но что же предпринять? Насчет мамы она знает. Можно, например, когда мама сидит грустная, обнять ее за шею и крепко – крепко прижаться и ласково погладить. А можно что-то сделать по дому из того, о чем мама не просила. Тоже очень хорошее средство от маминой грусти. Ну и успехи в школе, само собой. А как быть здесь? Ничего не лезет в голову, хоть тресни. Постой, постой, а если предложить булочку? С двумя кусочками отличной колбаски. Мама всегда долго – долго выбирает, пока купит. Не всегда даже и учительницы едят такие замечательные вкусные булочки – говорят, им тоже подолгу не платят деньги, и они, как это называется... бастуют. Вот как. А почему бы Галине Ивановне ни предложить мягкую сдобную булочку, да еще с колбаской? Тьфу на эту булку, пропади она пропадом, больно наешься ею, через урок ничего уж и не останется от этой булки. Одно воспоминание, правда, хорошее. А что до желудка – не велик барин, потерпит, не в первый раз. Зато спасем настроение Галины Ивановны, как потеплеют ее глаза, как она будет опять неторопливо расхаживать по рядам и говорить: « Дети мои, сейчас мы приступим... ». И кого-то поощрит взглядом, кого-то погладит по головке, кого-то похвалит вслух. Необязательно ее, Олю. Совсем необязательно. Пусть даже не хвалит совсем, а только возьмет классный журнал, улыбнется всем лицом, скажет радостно: « До свидания, дети » и выйдет в учительскую, а в классе останется только запах ее духов и отличного настроения. Ну кто не поменяет на это булочку, пусть даже с колбаской или сыром, или маслом? Надо только это хитро сделать. Галина Ивановна обязательно придумает что – нибудь насчет того, что она недавно ела и тому подобное. А сама, небось, торопилась в школу и даже не перекусила. Откуда после этого настроение возьмется? Нет, здесь надо все сделать по уму, как мама говорит...

На большой перемене ученица 1 » б » класса Оля Борисенко подошла к учительнице и сказала, немного смущаясь:

– Галина Ивановна, у меня что-то разболелся живот. Не могли бы вы съесть мою булочку? Здесь даже колбаска есть?

– Что ты, Олечка? Зачем мне твоя булочка? Я плотно позавтракала, а ты ешь на здоровье.

– Галина Ивановна, сегодня у вас нет совсем настроения, я же вижу. А когда вы подкрепитесь немного, оно у вас появится. У меня тоже так несколько раз бывало.

– Солнышко ты мое! – всплеснула руками учительница. – Ты заметила, что у меня нет настроения? Какая же ты у меня... добрая душа! – Галина Ивановна, до этого сидевшая неподвижно в классе, встрепенулась, обняла свою ученицу, на ее ресницах задрожали слезы. – Да, у меня были причины для скверного настроения. Веские причины, как мне казалось. – учительница озорно тряхнула головой, словно просыпаясь от оцепенения и прогоняя прочь невеселые мысли. – Оленька, хорошая моя, ты не представляешь, как ты меня подняла! Надо же! Кому-то важно мое хорошее настроение! И кому – моей маленькой ученице! Что по сравнению с этим какие-то мелочи жизни, если рядом с тобой растут такие люди. – Галина Ивановна незаметно смахнула что-то со своего лица.

– Галина Ивановна, ну пожалуйста.

– Хорошо, хорошо, Оленька, давай вместе, – учительница отщипнула кусочек булочки. « Ну точь – в точь как моя мама, когда я угощаю ее чем-то вкусным », – подумала Оля.

В полдень она возвращалась домой в отличном настроении и на мир смотрела влюбленными глазами. « Как хорошо на душе, когда сделаешь человеку что–то приятное,– рассуждала она по дороге.– Даже есть не так уж сильно хочется». Дома она едва дождалась, пока мама придет с работы и уплетая за обе щеки овсяную кашу, заправленную растительным маслом, захлеб рассказывала и про булочку, и про Галину Ивановну, и про то, как это замечательно: чувствовать себя хорошим человеком. Мама только поддакивала и гладила дочку по волосам, думая о своем.

– Наверно, я у тебя плохая мама,– сказала она вдруг, и теплые капли упали на руку дочери.

– Ну что ты, мамулечка!– Оля обернулась и обвила ее руками с такой сердечностью, с какой умеют только дети.–Ты у меня самая-самая...– дочка прижалась к мокрой материнской щеке:

– И что за напасть сегодня: и Галина Ивановна всплакнула, и я вместе с нею,и ты вот рюмсаешь– все из–за этой булки: какая-то она слезливая попалась.

Вечер танцев.

Помню тот неповторимый вечер в мягких красках уходящего дня.

Ранняя южная осень. Медленно, отдохновенно садится большое оранжевое солнце. Поселковый пастух гонит со степи сытое стадо: натруженно бредут, поднимая пыль, разнопородные коровы, распостраняя запахи плоти, кизяка, степи. Воздух густеет, очерчивает синим контуры хат, поют садовые славки, щеглы, потом один за одним смолкают, как инструменты в большом симфоническом оркестре. В небе яснее вырисовывается водянистый диск луны. День отошел. В наступившей тишине вдруг рассыпается соловьиное стаккато–тех–тех–тех–звучит прелюдия ночи. Так и в человеке: глохнет дневное, и рвутся наружу новые мотивы, и не спит, бунтует молодая душа.

Не в силах усидеть дома в свои шестнадцать лет, отправляюсь к Мишке и встречаю его по дороге ко мне. Не сговариваясь, кочуем вверх по улице в поисках приключений. Мишка, мой верный товарищ, рассказывает о новостях за те полдня, что мы не виделись. А я гляжу по сторонам на пышную, сонную роскошь цветов в палисадниках: жгучих чернобрывцев, нежнейшего сине–голубого крученого паныча, астр, душистого табака, ноготков, и мне то грустно, то вдруг распирает от предвкушения огромной жизни впереди. Хочется бежать и дерзко смеяться в небо.

На улице ничего не происходит достойного нашего участия. Мы оживляемся лишь когда где-то сбоку слышатся звуки музыки. Оказывается, гуляют свадьбу у Майгуров. Перезревшая невеста другого, не нашего поколения, жених–незнакомый шуплый паренек с маленькой птичьей головой. Скука. Помню особую темень, окружающую этот одиноко стоящий на отшибе дом, комок желтого рассеянного света во дворе, обязательную веселость подвыпивших гостей, толпу зевак, лениво судачивших о молодых. С реки неподалеку тянет холодной сыростью. Оттуда, когда молчит динамик, доносится азартный хор лягушек–квакшей – тоже один из последних концертов.

Неинтересно. Отходим немного в улицу и останавливаемся. Мишка смотрит на свои часы, недавно купленные, и солидно говорит:

– Скоро девять. Можно идти.

Он имеет ввиду танцы. Танцплощадка располагалась рядом с клубом. Здесь построили павильон, куда добровольцы приносили свою «аппаратуру». Не просто радиолу или магнитофон, а обязательно «аппаратуру». И священнодействовали над ней с важностью жрецов. Теперь по прошествии многих лет я вижу на их лицах редкий пушок, юную округлость подбородков, смешной апломб парней 17–18 лет, за которыми крылась извечная застенчивость и желание выделиться. Ради этого они жертвовали своей «аппаратурой» – по тем временам вещь все-таки очень дорогой. Для нас же, мальчишек, эти владельцы стационарных, громоздких магнитофонов и сверхмощных усилителей со всякими украшающими цацками и наклейками казались, действительно, небожителями. Они веско и взросло говорили на любые темы, и мы, шнырявшие поблизости, принимали их высказывания за непреложные истины в последней инстанции.

Танцы устраивались по средам, субботам и воскресеньям. В четырнадцать–пятнадцать лет ватага пацанов закапывала томагавки «войнухи» и перемещалась к танцплощадке. Сперва просто смотреть на скопище людей, узнавать лица знакомых парней и девушек, непохожих на тех, что видишь днем. Расположившись табором за границей света, исходящего от столбов с фонарями, мы «травили» анекдоты, задевали одиночных девчат, спешащих на танцы – в общем, дурачились, как могли.

Взрослея, многие из нас продвигались ближе к павильону, гроздьями висели на его перилах, раскрыв рты, слушали деловые разговоры устроителей танцев. Когда они заканчивались,

или когда танцующих разгонял дождик, мальчишки выбегали на круг и кривлялись, вроде бы пародируя взрослых. На самом деле, происходила бессознательная проба своих сил, пацаны незаметно уходили из детства.

Потом пришла очередь упражняться в танцах с нашими соседскими девчонками из тех, кого мы считали почти своими товарищами, не подозревая в них никаких других чувств и потому не стесняясь. Через много лет одна из них признается в первой любви ко мне. Что ж, останется лишь посетовать на превратности судьбы и нашу юношескую близорукость.

На танцах я и заметил Светлану. Раньше я ее не знал, так как учился в другой школе. Отныне танцы перестали быть просто зрелищем, интересным, но чужим. В семье только многозначительно переглядывались, когда я стал гладить брюки, чистить обувь, долго причесывать волосы.

И вот мы идем по тихой улочке, и чем явственней слышалась далекая музыка, тем медленнее становились наши шаги. Что-то в душе перестраивалось, томило тревожным и сладким предчувствием. Внутри меня происходило какое-то волшебное перевоплощение, как в сказке после таинственных слов заклинания, и надо было привыкать к новому своему существованию.

Оттого мы и не торопились, оттого я чисто зрительно и запомнил чью-то увитую виноградом веранду, слепящий свет открытой электролампы, пронизывающий листья густого ореха, фантастическое смешение ярких бликов и увеличенных теней; лицо пожилой хозяйки, мелодичный перезвон о бетонное крылечко таза, куда женщина бросает ослепительно белые комки. Почему-то еще тогда я знал, что буду помнить эти мгновенные видения.

Проходим немую, темную, длинную хату – мою бывшую школу, теперь уже закрытую навсегда. Легкий отзвук грусти. Затем заброшенную церковь с большим, настежь открытым садом, где мы раньше воровали сирень, чтобы сняться на школьной фотографии в конце учебного года.

Наконец музыка, густо заполняя пространство ночи, становится отчетливой, близкой. Нас обгоняет стайка девчат, и в воздухе плавает волнительный запах духов и пудры. И вот открывается широкая перспектива, яркий мир света, гул толпы, размытостьдвигающихся фигур, павильон, изрыгающий танго, фокстроты и вальсы. И что-то таинственное, необъяснимо тревожащее душу висит над всем этим. Вот наш поселковый парк, вот орава озорников у замурованного колодца – наших преемников; вот кое-где между деревьями стоят пары и группки – мужской разговор. И толчея молодежи в центре бетонного круга.

По заведенному порядку обходим два раза танцплощадку, приветствуя знакомых, сходясь в компании и снова удаляясь.

– Светка твоя здесь, – шепчет глазастый Мишка и косит взглядом в ее сторону.

– Правда? – быстро переспрашиваю и гляжу за ним.

Она! В груди и в ногах ощущается зябкая дрожь, все тело слабеет, вокруг все ходит, вертится быстрее, словно кто-то плавно тронул бетонный круг. Сильнее бьется сердце, острее видят глаза, душа обмирает от какой-то шальной мысли и сладкого предчувствия праздника. Уже не хочется толкаться у павильона, не прельщает случайное внимание его властителей.

Мне никогда не удавалось близко рассмотреть ее лицо. Выдать себя внимательным взглядом или как-то иначе – о! страшнее этого не существовало ничего. Наверное, поэтому я не мог мысленно «вспомнить» Кострикову. Всплывало перед глазами только размытое пятно лица, гладко зачесанные темные волосы, взгляд больших черных глаз – ее будто прикрывала густая вуаль, и чаще всего сквозь нее прорывался именно этот глубокий, спокойный и строгий взгляд, от которого даже в одиночестве бросало в жар и холод.

Как я узнал, Света Кострикова училась классом старше, к тому же ходила в другую школу. С некоторых пор случайно встретиться или хотя бы увидеть ее – с этим я вставал и с этим ложился спать.

Пригородный наш поселок больше походил на деревню. По вечерам в город ездили самые пижонистые парни и франтихи. Для большинства молодежи местом сбора оставался местный кинотеатр или клуб, как чаще его называли. От желающих посмотреть любой кинофильм не было отбоя. Перед сеансом у окошечка кассы – людской водоворот, толкотня, мелькание рук, споры, доходящие до драк, приливы и отливы очереди, и кто-то растерзанный, но счастливый пробирается сквозь толпу, зажав в руке заветные голубые полоски билетов.

Торчал в этих очередях и я. Вместе со всеми кричал, нажимал на передних, красный и потный, совал деньги в длинный туннель кассового окошка и выбрасывался из толпы ее прибоем. Это длилось до тех пор, пока в моей жизни не появилась Кострикова. Одно предположение, что она может увидеть меня в очереди расхристанного, на которого кто-то орет, мокрого от этой жалкой возни за билетами, бросало меня в пот и жар, заливало краской стыда.

Теперь я приходил в кассу днем. Часто, особенно зимой, кассирша задерживалась, и приходилось мерзнуть, ежиться под ветром, топтать ногами, чтоб не заоченели, отворачиваться от колючей поземки на обратном пути. Но зато я твердо знал, что вечером буду в кино и, возможно, ее увижу, и никакой мороз, самый сильный или скучный дождь, никакой сиверко не мог меня остановить, а надежда увидеть свою зазнобу возле кинотеатра еще больше горячила мою душу.

Обычно билеты брала подружка Светы – прыщавая рыжая толстуха. Я приблизительно знал в какое время она приходит за билетами, и если мы встречались у кассы, я вслед за ней срывающимся голосом шептал в окошко: «Мне один, тоже в этом районе». Прямо просить двенадцатый ряд, где обычно садилась Кострикова, у меня не хватало духу и не позволяла гордость. Приходилось уповать на счастливый случай. Что из этого могло выйти, я не представлял, знал только – что-нибудь необыкновенное.

И однажды судьба коварно улыбнулась мне. Когда я разочарованный полнейшей прозой в покупке билета отходил от кассы, к ней подошла та самая толстуха. Вечером я сидел в кинозале ни жив ни мертв, видя, как Света со своей фрейлиной остановилась и направляется по моему ряду. Проходя, Света в упор посмотрела на меня сверху вниз, и мне показалось, краешком губ улыбнулась. Они сели рядом. Не успел я содрогнуться от восторга, как подскочил какой-то поселковый прыщ из парней постарше и громко попросил: «Паренек, давай поменяемся местами. Света, можно я возле тебя?» Сопротивляться было смешно и оскорбительно. Я торопливо поднялся, стараясь не задерживать на себе внимание. Лицо мое пылало. Только когда начался фильм, я немного успокоился и уже корил себя, что не пришел попозже.

О моих роковых страстях не узнала бы ни одна живая душа, если бы я мог скрывать отчаянье, когда долго не удавалось увидеть Свету. Жизнь тогда становилась бесцельной, я ставил ее ни в грош. Все валилось у меня из рук. Я мог часами пластом лежать на кровати, уткнувшись в подушку, или наоборот целыми днями шататься по улицам вблизи ее дома, возвращаясь затемно синим от холода и голода, уставшим и злым от неудачи.

Первым меня раскусил мой лучший друг Мишка. После некоторого отпирательства я сознался ему во всем, взяв с него смертную клятву неразглашательства. Но шила в мешке не утаишь. Вскоре о причине моего недомогания догадались братья и сначала подтрунивали надо мной, но потом поняли, что дело нешуточное, и стали деликатно обходить эту тему. Только мать не принимала моих мучений всерьез. «Сколько ей лет?» – как-то спросила она, когда я лежал на кровати, безучастный ко всему. «Сколько и мне, – ответил я лишь бы меня оставили в покое. «Эх, дружок, – вздохнула мать, – ничего у тебя не получится. Твои невесты еще в куклы играют. Не переживай понапрасну».

Естественно, это прошло мимо моих ушей. Я стал с друзьями ходить в Светину школу на праздничные вечера. В школьный спортивный зал набивалась уйма желающих. Она выделялась среди подруг и соперниц высокой, стройной фигурой, как-то по-особенному изящной и гармоничной; тонкостью и смуглого испанского лица, редкого среди наших девочек; умением

держат себя вроде бы и просто, но и с достоинством. На Кострикову равнялись, ей подражали. Порой с унылой грустью, иногда с юношеским отчаяньем я наблюдал, как вокруг нее бурлит толпа более смелых и удачливых парней постарше меня. Теснясь в углу зала, я представлял, как стану чемпионом мира по боксу или большим артистом, и тогда она пожалеет, что не замечала худощавого паренька с глубокими, влюбленными глазами.

Мне долго не удавалось узнать, где Света живет. Несколько раз я видел, как она исчезала за углом одной из улиц в районе со старым названием Мельницы. Тайно проследить за Костриковой до самого дома не было никакой возможности: улицы поселка длинны и немногочисленны. Пробовал выудить сведения через одноклассников Светы, заводя с ними хитрые беседы, но безрезультатно. Верилось, что она живет в самом красивом доме поселка. Попадая в ее район – а для этого годился любой предлог – я пытался определить Светин дом. Наконец облюбовал большой нарядный дом с голубыми воротами, железной ажурной решеткой между столбами забора, ухоженным палисадом с незнакомыми, но чудесными цветами. Бывать на Мельницах, мотаться там на велосипеде стало для меня грешным, тревожным наслаждением. Походы на пляж в этом районе исполнились большого тайного смысла: ведь здесь Кострикова могла загорать, купаться. Возможность встречи наполняла меня жутковатым, но сладостным томлением.

В то время мы увлекались ездой на велосипедах. Я проявлял дьявольскую изощренность и фантазию, прельщая друзей выгодами езды на Мельницы. Мы гоняли по улицам с лихой отвагой и шиком. Однажды проносясь на велосипеде «без руля», я заметил, как во дворе дома, что мне приглянулся, мелькнуло знакомое голубое платье в белый горошек. От замешательства меня всего дернуло, руль повело, и я едва не врезался в дерево. Зато теперь мне было известно, где она живет...

В тот вечер после неторопливого обхода я с Мишкой присоединяюсь к группе таких же подростков с нашей улицы. Я несколько раз приглашаю на танец Галю, мою соседку и подругу в детских играх. С ней танцуется легко и свободно, я непринужденно болтаю о всяких пустяках. Галя, наоборот, неожиданно для меня немного стесняется.

– А ты хорошо водишь, – однажды хвалит она меня.

– Да? – удивляюсь я невнимательно.

Она утвердительно кивает, не поднимая лица.

Мишка в это время скромно уходит в шумную толчею зрителей, окружающих танцплощадку. Он еще не умеет танцевать, и ему неловко. Несколько раз в просветах между парами мелькает его красная рубашка. Время от времени он наведывается к нам и снова исчезает. В одно из таких явлений Мишка с физиономией заговорщика сообщает мне:

– Светка, кажется, одна.

Когда до сознания доходит смысл Мишкиных слов, меня даже передергивает от нервного озноба.

– Ну и что? – отвечаю я, заикаясь, – ты же меня знаешь ... я не готов ...

– Не дрейфь, вздыхаешь, как кисейная барышня, – сам возбуждаясь, настаивает Мишка. – Если бы мне кто так нравился, я уже б давно ... – Мишка врет, он больше других боится девчонок, но все равно его слова раззадоривают меня.

– Вообще – то можно ... – размышляю я вслух, холодея от мечтательного восторга и собственной немыслимой смелости.

Мы отходим от своей группы, выбираем удобное место, откуда можно незаметно наблюдать за Костриковой. На Светлане темное короткое платье колокольчиком, плотно облегающее ее. Впереди узкий треугольничек выреза, слегка обозначающий начала груди. В том, как она говорит, улыбается, как вдруг в каком-то ветреном удивлении оборачивается к подруге, не обнаруживается и тени жеманства, пошлой манерности, которой я терпеть не мог и которую распознавал с почти болезненной чувствительностью.

– Ну давай, лети, – то и дело толкает меня Мишка, когда ставят новую пластинку. Ему не терпится узнать, что из этого выйдет. В моей решимости он сам надеется набраться духу, чтобы порвать с детством.

– Подожди ты, – нервно отмахиваюсь я, – дай подумать, – хотя точно знаю, что никогда в жизни не решусь на такой отчаянный шаг. Но с другой стороны, что-то во мне восстает против такой фатальной определенности, я злюсь на себя и сам себя подбадриваю.

Народа на танцы собралось меньше обычного. Говорили, что помешал международный матч по футболу. Несколько раз мы приближаемся к стайке девчат, где стоит Кострикова. Вместе с подружкой она держится особняком. К ним подходят парни, но долго не задерживается. Света выглядит грустной, беспокойно оглядывается по сторонам, ищет глазами кого-то.

Однажды я встречаюсь с ней взглядом и замираю от волнения.

Никогда еще меня так не разрывали робость и желание пересилить себя. В нервном изнеможении смотрю в роскошную, чарующую ночь. Надо мной висит огромное, черного бархата небо в цирковых блесках звезд. Чернота его клубится почти у плеч танцующих. Желтоватый, какой-то кашеер свет фонарей, полет ночных бабочек, возникающих из ниоткуда, музыка, столпотворение людей на клочке земли – все создает ощущение нереальности происходящего, какой-то дивной сказки, где я – Иван-царевич. В голове мельтешит одна и та же мысль: «сегодня или никогда. Ну сделай это, прошу тебя. Это же так просто и продлится всего несколько минут». Разум приказывает, а тело не хочет подчиняться, ноги налились чугуном, сердце заходится от бешеного ритма.

И вдруг я, деревенеющий от внутренней скованности и зажатости, в какой-то миг отрываюсь от Мишки. Это кажется бредом... но... но я иду к ней. Еще не верю в свое безрассудство, еще готов в любое мгновение свернуть в сторону и с облегчением отдышаться. Но эта возможность сдаться заставляет меня упрямо идти вперед, иначе я буду ненавидеть себя.

Подружка Светы, а потом и она сама заметили мое движение. Оно теперь понимается однозначно – все пути назад закрыты. Я не сворачиваю, собираю себя в кулак настолько, что мой голос почти не дрожит, когда я церемонно приглашаю Кострикову на танго. Впрочем, я почти не слышу своего голоса, я его лишь чувствую; все окружающее как будто наплывает на меня, теряя четкие контуры. В такие минуты не разум управляет человеком, а что-то независимое от него, составляющее сердцевину, фундамент твоего «я», и чего нельзя изменить, как бы тебе этого ни хотелось.

Света, помню, быстро взглядывает на меня, словно удивляясь чему-то или сомневаясь, потом спокойно идет в круг, слегка склонив голову в какой-то женской обязательности. Пока мы идем на середину площадки, сердце мое стучит, как молот, в ушах больно отдаёт глухими, судорожными толчками кровь. Не зря молодым дается крепкое здоровье: старикам уже не выдержать таких нагрузок. Но где-то далеко-далеко в лабиринтах сознания уже рождается несмелая музыка победы над собой.

Все происходит, как во сне. Тело мое ничего не весит – я его не чувствую, запахи не воспринимаются, перед глазами – плоская пленка с людьми, деревьями, небом. Пальцы помнят скользкое шуршание шелка – это рука, не выдерживая напряжения, иногда ищет опору и ложится на платье. Тогда я чувствую тугое тело Светы, его нервную, живую теплоту; все остальное время моя рука едва касается шелка. Еле– еле передвигаюсь ватными ногами, боясь нечаянно обнаружить свое существование. Но ветер-изверг, как будто издеваясь надо мной, вдруг гладит мою щеку прядью ее волос. Вот они, эти пахучие завитки, отдающие вороненным тусклым блеском, такие реальные, такие дурманящие, что вновь заходится сердце, лицо горит, и мысль только об одном – скорее бы все это кончилось. «Потом, потом» – подавляю я в себе все прочее, что сумбурно ворочается в мозгу.

Мы почти одного роста. Ее лицо против моего. Несколько раз ловлю на себе ее испытующий взгляд и вновь пылаю пожаром. Пучки волосков на моем подбородке терзают меня, как

мученика на дыбе. Слегка увожу голову в сторону в наивной надежде, что она не увидит этого пушка, юношеской сыпи, каменной немоты губ. Чувствую на лбу влажный холодок испарины. «Наверно, блестит» – думаю с ужасом.

Но вот пластинка кончилась. Провожая Свету под парадный марш гигантского оркестра, звучащего во мне. Он дует в свои трубы ликующе и торжественно, достигая таких высот, до каких вряд ли когда поднимался потом, хотя случались в моей жизни много других счастливых минут.

Обсуждения с Мишкой, конец танцев, как шел домой – все уложилось в один миг прошлого. Помню себя в саду около полуночи, упавшего на кровать в счастливом изнеможении и разметавшегося, как в горячке. Переживать происшедшее не оставалось больше сил.

Вокруг тишина. Где-то глухо лают собаки то в одном, то в другом конце поселка, усиливая чувство безлюдности и полуночного покоя. Долго лежу с открытыми глазами, глядя в никуда. Потом поворачиваюсь набок и в просвете между ветками наблюдаю темную бездну неба. Никогда прежде не видел такого удивительного, чудного месяца! Огромный светящийся диск в безгрешном, без единого облачка небе. Блестит – смотреть больно. Как величав, как единственен! Деревья, дома, дорожки сада – все залито, все купается в этом море серебряного света. Мне видится – я похож на этот расцветший, в полной силе месяц.

Отдохнувший мозг потихоньку возвращает меня к действительности и нашептывает о подспудной работе, которую он проделал, пока я витал в облаках. Приходит сознание того, что Света намного старше меня в понимании жизни и в потребностях. Я ничего не могу ей дать и предложить, кроме сумбурных, до конца неоформившихся движений моей души, раскрывающейся, подобно утреннему цветку, навстречу огромной, восхитительной жизни. Спасибо тебе, Света, за все – за все, за то, что благодаря тебе, я вырос из детства, преодолел планку, поставленную выше головы. А теперь прощай, моя девочка, моя мечта, мои грезы... я не знал бы, что делать с твоей взаимностью, даже если бы она вдруг возникла...

Высоко поднимаюсь в кровати, шарю рукой в густых листьях, пока не натыкаюсь на влажный, холодный ком большого яблока. С хрустом и наслаждением вгрызаюсь в тугую, ароматную мякоть; губы липнут от сладкого сока. После него еще больше хочется пить. Иду по узкой садовой дорожке во двор, где у нас колодец. Огромная моя тень забегает вперед, делая меня великаном. Ворочается Буран возле своей конуры, давая понять, что он на чеку. Мягко звенит железная цепь, поскрипывает барабан. Жадно припадаю к мокрому ободу ведра. После воды становится зябко. Опять возвращаюсь в сад, укладываюсь теперь уже основательно, до утра. Медленно плывут перед глазами картинки прошедшего дня, затем уходят в небытие, и остается лишь ощущение испытанного счастья.

Венгерская рапсодия

До армии я занимался музыкой, книгами и математикой. Можете представить самочувствие такого юноши, когда после неудачного поступления в Московский университет, его вызвали на медкомиссию в военкомат, послушали сзади и спереди, постукали, повертели так и эдак и сухо вынесли вердикт: «Годен к строевой». После этого, не спрашивая, нагнули шею, оболванили «под Котовского» и приказали сидеть дома. Повестка не заставила себя долго ждать: светлым сентябрьским утром я, как было сказано в бумаге, «с вещами» явился на призывной пункт.

Все два с половиной года, проведенные в армии, я находился в каком-то оцепенении, в состоянии ежика, выставившего дыбом все свои иголки против лисы, что пытается перевернуть этого самого ежика мягким брюхом кверху. Все, что составляло мое духовное «я», пришлось спрятать поглубже от постороннего взгляда, от грубых, бесцеремонных прикосновений армейского быта и порядков. Меня строили, водили, учили чему-то; я безропотно подчинялся, поворачивался, ходил строевым шагом, бегал, ползал по-пластунски, стрелял по учебным танкам из гранатомета, который мне вверили по должности, пел строевые песни, ходил в столовую – в общем, был хорошим солдатом, даже комсоргом роты. Но в свободное время я был рассеян, отрешен от всех, впадал в задумчивость, уходил мыслями в такие дали, из которых меня мог вернуть только строгий голос команды: «Подъем, отделение, стройся!». Мираж, который постоянно стоял передо мной, исчезал, как изображение в выключенном телевизоре, и я вновь был солдатом. Толя Сергиенко, мой земляк и товарищ по взводу, показывал на меня пальцем и говорил со смехом окружающим: «Увидите, на гражданке, он точно когда-нибудь попадет под машину», на что я не обижался, а только сдвигал плечами и продолжал размышлять о своем или что-то писать.

С детства я был светлым человеком и старался отринуть все темное, злое, некрасивое, жестокое. Я не любил темноты, я не любил кладбищ, похорон, калек, нищих, не любил наблюдать ссоры, свары, драки, не участвовал в издевательствах над животными, не любил смотреть, как убивают даже курицу. Зато я любил Моцарта и Шопена, любил слушать духовой оркестр в парках и по радио, любил смотреть и участвовать в парадах и смотрах, меня вдохновляло, как человек помогает человеку, одно словосочетание «они спешили на помощь» вызывало у меня телесную дрожь и мурашки по коже; когда я участвовал в команде, меня было полтора человека, я мог подвести себя, но команду – никогда. Когда я читал, как Пересвет выходил на бой с Челибеем, как спешили на помощь Москве сибирские дивизии, слезы выступали у меня на глазах, и я готов был тут же без колебаний отдать свою бесценную жизнь за свободу и независимость родины. У меня всегда были несколько восторженные, мечтательные глаза, я всегда ходил с чуть приподнятой головой, и при знакомствах люди, причисляющие себя к провидцам и знатокам жизни, говорили, что я, должно быть, пишу стихи. Стихи я не писал, но всегда их любил. Такого солдата получила суровая, жесткая, не склонная к сентиментам наша армия в моем лице.

Попал я в Южную группу войск, что квартировалась на территории Венгрии. Когда на сортировочном пункте сказали: «Музыканты, два шага вперед!», я вышел, рассчитывая на лучшую долю. Нас, музыкантов, равномерно распределили по дивизиям и полкам. Однако, в том военном городке, в который я прибыл, в музыкальный взвод нужны были только трубачи. Так мне досталось трубить со своим баяном в мотострелках – самое тяжелое, что есть в наших славных войсках, наземных, подводных и воздушных.

К моему счастью, старшина нашей мотострелковой роты оказался страстным любителем баяна; в его каптерке их стояло аж два. В свободное от занятий время он просил поиграть или пиликал вместе со мной. Взамен я меньше страдал от своей задумчивости и рассеянности.

Особенно меня донимало каждодневное бритье. Щетина лезла из меня немилосердно. Некоторые из нас брились один раз в неделю. Мне же приходилось бриться чуть ли ни ежедневно. Орудием казни выступал станок с лезвием «Нева», которое было в несколько раз толще лезвий «Спутник» или «Ленинград», что были в моем распоряжении «на гражданке». Горячая вода отсутствовала, в результате такого бритья я выходил из туалетной комнаты похожим на подследственного после допроса в камере НКВД. К тому же я знал, что чем чаще бриться, тем быстрее будет расти щетина. Дома я сперва брился раз в две недели, потом раз в неделю, потом через три дня. Последний график я надеялся сохранить и в армии. Но не всегда получалось. Бывало, на утренней поверке остановится против меня старшина и долго изучает мой пушок, потом тяжело пройдет дальше, а вечером в каптерке буркнет:

– Ты, Соколов, мое терпение не испытывай, понял?

Я молча машу головой.

– Ну да ладно, давай вместе сыграем «То не ветку ветер клонит». У нас в деревне очень эту песню любят. Будешь подсказывать, где я ошибусь.

Часто утром спрашиваю Хабидуллу Касимова, вернейшего моего товарища, поглаживая подбородок:

– Касимов, ну как, сойдет еще на денек?

Он мнетя, в сомнении кривит рот, зная, что мне не хочется лишний раз подвергать себя экзекуции, потом говорит:

– Конечно, еще терпимо, но ты же знаешь нашего старшину...

Приходится со вздохом намыливать щеки.

Наш военный городок располагался в пятнадцати километрах от венгерского селения Кишкун-Майша. Мадыры называли его городом, но по нашим понятиям и меркам это был поселок городского типа, тысяч десять жителей – не больше. И таких жителей, реакция которых непредсказуема. Прошло всего двенадцать лет после венгерских событий 1956 года, когда наши танки грохотали по улицам Будапешта, не разбирая, кто прав, кто виноват. Когда мы по той или иной необходимости проезжали иногда по улицам поселка, то встречали взгляды самые разные: у молодежи – более приветливые, у стариков же – более настороженные, часто с недобрый огоньком изподлобья. Поэтому контакты с местным населением почти отсутствовали, мы сами по себе, они – тоже.

А теперь представьте себе две тысячи молодых, сильных, здоровых парней, собранных воедино. Разве среди такой массы не найдется десяток отчаянных голов – мушкетеров, способных рисковать жизнью ради какой-нибудь местной Констанции Бонасье? Находились.

В километрах десяти в противоположную сторону от Кишкун-Майши стояло неказистое, открытое всем ветрам строение. В этой неприкаянной венгерской хате жила некая вдова с тремя детьми, неизвестно от кого родившимися. Вот сюда время от времени и ныряли наши Дон-Жуаны и Казановы со свертком масла под мышкой или простыней, уворованной с вещевого склада. Риск, конечно, был огромный. Мало того, что надо было за ночь отмерить десять километров туда и десять назад. В случае поимки самовольщика ему грозило до трех лет армейской тюрьмы – дисбата.

Вокруг этой вдовы витали всякие легенды, слагаемые от скуки гарнизонными краснобаями и фантазерами. Однажды, стоя на посту у полкового знамени, я увидел эту «красотку». Ее в который раз вели в штаб полка для выяснения обстоятельств очередной вылазки наших кавалеров. Неопрятная бабенка лет сорока цыганской наружности в каких-то обносках, лохмотьях, с алкогольным, синевато-лиловым лицом, прячущая глаза от многочисленных и жадных солдатских глаз. Боже мой! И о такой женщине ходят цветистые, похотливые истории?! Да пусть бы меня трижды три раза избili, прежде чем я позволил бы себе пожать руку этой кляче. Возможно, зная, куда идет, она специально так «приукрасила» себя, но все равно на стихи и на баллады в любом случае эта вдовушка явно не тянула.

Когда в своей роте я в лицах и красках рассказал о виденном, многие из моих товарищей согласно кивали головой: мол, да, что и говорить, паршивая сучка, не стоит она того, чтобы о ней долго калякать— пока кто-то не выдержал и мечтательно произнес:

– А я бы все-таки попробовал.

И у всех загорелись глаза.

Балагуры говорили, что нам в пищу подмешивают какие-то пилюли, чтобы меньше хотелось, но думаю, что это пустые враки, потому что разговоры о женщинах не прекращались ни на минуту, где бы мы ни были: в дозоре, на стрельбище, на привале, в бане, столовой, перед сном, после сна, в плохом настроении и в хорошем, на гаупт-вахте, на марше— короче, везде. Все завидовали солдатам тех частей, что стояли по венгерским городам. Их отпускали в увольнение, хоть и группами. На проходных этих частей постоянно толпились молодые мадьярки, упрашивая дежурных: « позовите Ваню, позовите, Сережу, позовите Колю, Витю, Юру» с добавлением фамилий. Немало девушек приходили беременными, требовали записать их на прием к командирам частей. Нередко солдаты демобилизовывались, увозя домой новоиспеченных жен. Но еще больше девушек оставались у разбитого корыта. Это вызывало напряжение между воинскими частями и местной властью. Потому обе стороны всячески старались уладить эту деликатную сторону своих отношений к взаимному удовлетворению. Это, конечно, удавалось не всегда. В нашем городке этих проблем не существовало к радости начальства и к великому огорчению солдат.

Служба тянулась так, как ей и положено тянуться – ни шатко ни валко. Я даже думать не хотел о времени, потому что представив хоть на минуту, сколько впереди еще этих одуряющих, отупляющих, лучших твоих молодых дней, можно было сойти с ума, идти вешаться или стреляться, что и делали некоторые малодушные солдаты. Не скажу, что у нас была тяжелая моральная атмосфера. Ничего подобного. На удивление, у нас не было дедовщины. Мелкие колкости и шалости «стариков» не в счет. Думаю, что в армии можно обойтись и без дедовщины, если командиры на месте, знают, любят свое дело и солдат. Кормили, одевали нас хорошо, бытовые условия были лучше, чем у многих дома. Сознание того, что мы на чужбине и служим святому делу, согревало нас и поддерживало. Но главная тяжесть моя и других состояла в том, что мы долгое время находились в тесном пространстве военного городка, изо дня в день занимаясь одним и тем же. Понимание того, что это не твое дело и никогда не будет твоим, что уходят сквозь песок бесполезных будней лучшие твои годочки, тяжелым грузом ложилось на душу, бередило сердце.

Но хватит об этом. Пора приступать к главному, ради чего и затеян этот рассказ. Итак, в наш полк приехал новый замполит. Новая метла, новые веяния. Видимо, замполит получил новейшие знания в академии и решил немедленно претворять их в армейскую жизнь. Как я понял, он решительно намеревался сломать полосу отчуждения между братской армией и местным населением. Несколько раз у нас побывали воины Венгерской народной армии, устраивались соревнования по военно-прикладным видам спорта, которые мы выигрывали с большим отрывом. Потом к Дню Советской Армии прошел концерт художественной самодеятельности нашего венгерского поселка. Замполит надумал сделать ответный визит в Кишкун-Майшу, чтобы показать, что советские воины живут не только военной службой. Это не было показухой, хотя и сказать, что культурная жизнь течет в нашем городке широкой рекой, тоже было бы неверно. У нас был музвзвод, который обслуживал торжественные приемы, строевые занятия и парады, был клуб офицеров, где работали всякие кружки; к знаменательным датам готовились концерты. Но, конечно, этого было мало, чтобы выступить перед гражданами другого государства.

Вот здесь-то и вспомнили о моем музыкальном образовании. Я был направлен на смотр всей наличной музыкальной общественности городка. Все, что могло петь, плясать, шутить, говорить по-венгерски было здесь. Как говорили древние: « Мане, текел, фарес»— собрано,

подсчитано, разделено. Я, как незабвенный Максим Перепелица, воодушевился в надежде на то, что с гранатометом и «стройся!» будет покончено, если и не навсегда, то надолго. Но через время я понуро вручил командиру роты записку: » по возможности предоставлять рядовому Соколову время для подготовки концерта».

– Отлично,– сказал капитан Бабий,–будем за тебя болеть. С 20.00 до 22.00 тренируйся на полную катушку, дадим стране угля, а?!»

– Так это же свободное время,– промямлил я .

– А когда же ты хотел?– уже строго спросил Василий Петрович.– Другого времени у нас нет.

Зато старшина открыто ликовал.

– Представляешь, ты один от нашего батальона. Девятая рота себя еще покажет!– где и девался его апломб старшины. Он с мальчишеским восторгом потрясал кулаками в воздухе.

– Что они у тебя отобрали?– спросил старшина.

– Вариации на тему русской народной песни « во саду ли в огороде» и «Чардаш».

– Не дрейфь,– подбодрил он, видя мое кислое лицо, и подмигнул,– что-нибудь придумаем.– И тут же, опомнившись, одернул гимнастерку и сухо добавил:

–Но чтоб к тебе никаких замечаний, особенно по внешнему виду.– и погрозил пальцем.– ни-ни.

«Что-нибудь придумаем» состояло в том, что старшина убедил командира роты, что рядовой Соколов имеет отличную выправку и прекрасно владеет строевым шагом, а потому временное отсутствие его на строевых занятиях не нанесет вреда боевой подготовке. А ему, старшине, надо кое-что сделать в каптерке, и рядовой Соколов, как нельзя лучше, подходит для этой цели.

– Смотри у меня,– ответил Василий Петрович, все понимая,– если он хоть на секунду запнется или как-то иначе запартачит, будешь сам дополнительно маршировать. Понятно?

– Понятно,– с готовностью ответил старшина, а потом хитро добавил:– еще ж и нервы могут ... тово ... товарищ капитан... И пальцы хорошо разминать надо. Искусство ... оно ...

Капитан досадливо махнул рукой и отошел, ничего не сказав. А я получил возможность дополнительно два часа « разминать пальцы». Но и ответственность за исход концерта неизмеримо возросла. Четыре часа в сутки я наяривал упражнения, а потом концертные вариации и чардаш, прошли все репетиции и просмотры.

И вот наконец концерт. Сперва для обкатки в своем городке. Огромная солдатская столовая на тысячу посадочных мест, пропахшая борщами и салатом из квашеной капусты, теперь принимала высокое искусство. Пришли даже жены офицеров, что подняло статус концерта на невиданную высоту. На десяток женщин, севших в первом ряду, смотрели так, как смотрели бы, наверно, на инопланетян или на богинь, спустившихся на грешную землю. Головы парней тянулись поверх других, таких же голов, чтобы увидеть стройную шейку или хотя бы волосы подразумеваемой прекрасной женщины. Большинство, естественно, ничего не видело.

Так длилось до самого открытия занавеса. Когда начался концерт, все немного успокоились. Несмотря на страшное волнение, я отыграл свои сольные вещи безошибочно, а кроме того аккомпанировал танцорам и певцам вместо заболевшего штатного баяниста. Аплодировали оглушительно, наша рота даже встала после моего выступления. Вслед за ней вставали и другие подразделения, чьи представители участвовали в концерте.

У победы, успеха всегда много творцов. Из-за кулис было видно, как командир полка поздравлял комбатов, руководителей отдельных рот и подразделений. Наш подполковник Гурьев подошел к Василию Петровичу и благодарно пожал ему руку. Тот– нашему командиру взвода. Старшина сам подкатил к ротному:

– Ну как, товарищ капитан, девятая рота, а?

– Хорошо, хорошо,—ответил довольный Бабий, но, соблюдая субординацию, не стал дальше распространяться, а только деловито добавил:— завтра поговорим.

После вечерней поверки товарищи мои всласть обсуждали и появление женщин на концерте, и сам концерт.

–Ну ты и резал,—восхищенно сказал Толя Сергиенко, толкая меня в плечо,— штатный так не чесал...

– А я,— как всегда, стеснительно говорил Хабидулла,— толком и не помню, что ты играл. Вспотел весь ... переживал, чтоб ты не срезался ... вещь больно трудная, чувствуется ... когда ты закончил, ну, думаю, теперь можно остальное спокойно послушать.

– Спасибо, дружище,— искренне сказал я.— И сам не помню, как играл, пальцы сами ходили, вас боялся подвести ... все плыло, как в тумане.

– Счастливчик ты, Васька,— с добродушной завистью сказал Витька Романчук.— Теперь, я слышал, вы в Кишкун-Майше будете чесу давать. Представляю, сколько там мадьярочек аппетитных будет. Уйма! Ты ж смотри не подкачай. При первой же возможности ... не подведи мотопехоту. Так, ребята?

– Не, пацаны, не,— убежденно, как заправский знаток, заключил Сашка Гаврилов, заранее сожалея, что такой шанс дается неподходящему человеку.—Соколов—это типичное не то ... мы ж его знаем ... начнет бодягу разводить ... он стесняется ... нужно все выяснить ... что здесь выяснять— вперед и шашки наголо.

–Вася, а нельзя баян за тебя таскать ... он тяжелый,— вставился Колька Варенцов, лыбясь всем своим широким, бугристым лицом.

– Нет, туда бы его,— я кивнул на Женьку Иванова, нашего Василия Теркина, любителя рассказывать о своих любовных похождениях, скорее всего выдуманных, с шутками и прибаутками без умолку,— а я ... правильно сказал Сашка, не по тем делам ... я так не могу ...

– Не могу, не могу,— передразнил Иванов,— знаешь наше правило: не хочешь— заставим, не можешь— научим. Действуй напористо, приври, если понадобится, для интереса. Главное, не упустить момент, он бывает один. Помню, как-то иду я однажды ... — И Женька завел очередную долгоиграющую пластинку о своих приключениях.

Смех, анекдоты и всякие истории продолжались до предельной черты, то есть до отбоя— армия все же не санаторий и не больница, где можно болтать ночь напролет. Здесь голову к подушке приложил — и уже спишь мертвецки.

На следующий день капитан оставил нас вдвоем со старшиной в каптерке.

– Вот что я думаю,— сказал он сурово.— У Соколова отличные успехи в политической подготовке,— а здесь,— Бабий красноречиво огляделся,— еще непочатый край работы. Так что я вас, рядовой Соколов, пока отстраняю от занятий в этой части. Продолжайте наводить порядок тут. Но чтоб негромко, усвоили? Вечером перед строем я объявлю вам благодарность за успешное выполнение порученного задания, а сейчас пока неофициально,— ротный горячо потряс нам руки и почему-то извиняющимся голосом добавил:— ничего не поделаешь— служба,— что он этим хотел сказать, можно теперь лишь догадываться. Наверно, что он уважает искусство, но долг прежде всего. Мы не возражали, все по-честному.

Я мог отныне вместо скучных бесед о преимуществах социализма, разучивать новые трудные музыкальные пьесы, песни, танцы, ноты которых имелись в нашей библиотеке. Товарищи на меня не обижались, видя, что я не сачкую. Наоборот, мне было куда тяжелее после погружения в музыкальную стихию снова надевать снаряжение, взваливать гранатомет, пистолет АПС в тяжелой деревянной кобуре, учебные гранаты и другую амуницию.

Вечером в субботние дни я брал баян и играл для всех. В наших условиях это была эмоциональная отдушина: мне заказывали песни, напевали, если не было нот, я их наигрывал, а через неделю исполнял для русских, украинцев, узбеков, таджиков, белорусов и многих других

национальностей, представители которых служили в нашей роте и батальоне. Ходил я и на репетиции концерта.

И вот наконец последний прогон в клубе, и мы на двух машинах готовимся ехать к венграм с первым после трагических событий концертом. Замполит – теперь мы знали, что это подполковник Кочергин – самолично и тщательно отобрал репертуар, абсолютно политкорректный. Волновались все: участники концерта, худрук, замполит, штаб полка. На всякий случай на проходной в полной боевой готовности дежурил наш взвод. Думаю, что волновались и на другой стороне.

Мы уже сидим на двух «Уралах» на контрольно-пропускном пункте, но почему-то нет команды на выезд. Прошло около получаса, а мы все сидим. Как потом стало известно, спор «за» и «против» шел до последней минуты. Видимо, авторитет выпускника академии победил. Появляется замполит и художественный руководитель Анатолий Андреевич. Открывается шлагбаум. Пока едем, худрук объясняет ситуацию. В последний момент возникла проблема: брать или не брать оружие. Командир «за», замполит «против». Начальник штаба предлагает третье решение – вообще никуда не ехать и не рисковать понапрасну. Но тогда откладывается мирный диалог, разработанный и рекомендованный на самом высшем уровне.

В конце концов было решено ехать безоружными, но держать ухо остро и в случае провокаций немедленно отступать к машинам, не заботясь об инструментах. Неплохая аранжировка концерта, не правда ли? После такого сообщения как-то без вдохновения думалось о ритме исполнения, как чистенько сыграть глиссандо или другое трудное место в произведении. Мы сидели притихшие и строгие, пока не увидели ярко освещенные окна местной гимназии, где и должен был состояться концерт. Личная тревога тут же вылетела из головы, сменившись артистическим азартом.

Нас приветливо встретила делегация в составе мера города, директора гимназии и еще троих человек. Все сносно говорили на русском, поэтому переводчики ни с той, ни с другой стороны не понадобились. На крыльцо густо высыпали гимназистки с приветственными возгласами и улыбающимися лицами.

Стали выносить из «Уралов» инструменты, декорации, костюмы. Который раз приходилось проходить сквозь строй оценивающе-внимательных глаз, и с ответной жадностью наши артисты смотрели на юных, смешливых, радостно– оживленных гимназисток. Уже тогда я заметил одни глаза, так упорно, так заинтересованно разглядывающих меня.

Нам пришлось раз пять ходить туда– сюда, и все время я наткался на этот изучающий и одновременно озорной, игривый и женски лукавый взгляд. Сердце сладостно и волнующе замирало от предчувствия чего-то необыкновенного.

Потом все участники концерта с лихорадочным блеском в глазах и несколько преувеличенной озабоченностью носились по сцене, готовясь к выступлению и стараясь погасить в себе нервное возбуждение. Ни о какой опасности уже никто не думал, только бравый замполит, как плохой сыщик, откровенно зыркал по сторонам, выходил то на улицу, то во внутренний дворик, то к «Уралам», где наготове сидели шоферы. Но и он все-таки успокоился и присел в первом ряду возле добродушного толстячка– директора гимназии.

Как всегда, начались традиционные речи. Мер кратко и без особого энтузиазма сказал нечто об интернационализме, солидарности трудящихся и тому подобных вещах, что рад принять в городе гостей не с военной, а мирной миссией, и что язык искусства понимают все народы мира без переводчиков. В ответном слове замполит рассказал об интернационализме более пространно и с большим воодушевлением, а также о преимуществах социализма вообще и мировой социалистической системы в частности. И все эти преимущества надобно защищать, что и делают наши славные воины. А в свободное время они повышают свой культурный уровень и готовы показать это на деле; только не надо быть к ним слишком строгими, потому что для них главное – все-таки защита рубежей социализма.

После этих ритуальных речей начался концерт. Каждый номер принимался на «ура». И должен сказать, не зря. Я и до сих пор удивляюсь, как в воинской части, находящейся в состоянии постоянной боевой готовности и абсолютно не приспособленной ни к какой самостоятельности, в том числе и художественной, смогли за несколько недель создать концертную бригаду, выступающую на уровне солидного Дома культуры. Не лукавые цифры и доводы, а вот такие конкретные факты говорят намного больше о том огромном духовном потенциале, общем уровне населения, который был создан в Советском Союзе. Теперь такую программу не составишь даже в округе. Я помню чеченца, исполняющего национальный танец с таким блеском, таким огнем, такой виртуозной техникой, какие не всегда встретишь и на столичной сцене. Ввиду отсутствия национального костюма его одели в одежду кубанского казака. Я тоже исполнял «Чардаш» итальянского композитора Монти – вещь, технически весьма трудную, но очень красивую. Уровень остальных участников был не хуже.

Когда я на «бис» закончил свои «Вариации» первой вскочила и яростно захлопала в ладоши высокая, стройная, рекламно–броская девушка во втором ряду, сидящая за директором гимназии. Мы встретились взглядами, и я узнал эти настежь распахнутые, радостно–удивленные глаза, что буравили меня на крыльце. Она заулыбалась и приветливо, доверительно помахала мне рукой, как старому знакомому. «Красивая»,– подумал я, волнуясь и заранее предвкушая будущее удовольствие от того внимания, с которым меня будут слушать в роте. Я и не предполагал, что события намного превзойдут все, о чем я собирался слегка приврать, как учил меня Иванов, и что ожидают мои товарищи.

Когда концерт окончился, оказалось, что это еще не все. Хозяева для нас тоже организовали свой концерт. Зал покинуло несколько человек и среди них моя незнакомка. Вдруг кто-то берет меня за рукав. Оборачиваюсь– она. Мило, задорно, с вызовом улыбается.

– Добрый вечер,– говорит, и по-школьному, балуясь, приседает в книксене.– Меня зовут Жужа. А вас как?

– Ва-ва– си-лий,– отвечаю сконфуженно.

– Василий,– нисколько не смущаясь, продолжает девушка, – не могли бы вы аккомпанировать нам «Чардаш». У нас проблема с инструментами.

– Ну ... не знаю ... – отвечаю, все еще ошарашенный, – если разрешат ... я пожалуйста. Только этот «Чардаш» концертный, он не для танца.

– Вот и хорошо,– по-детски хлопая в ладоши и подпрыгивая, говорит Жужа.– Я сейчас все улажу.

Стою ни в тех ни в сех. После стольких-то месяцев монашеского заточения – и вдруг такой случай. И такая красавица. Уму непостижимо. В роте не поверят, скажут, что перебор – так даже Иванов не врет. Что же будет дальше? Я и дома к такому обращению не привык, не приспособлен, а здесь тем более.

Подходит Алексей Андреевич и говорит мне:

– Товарищам надо помочь, замполит разрешил,– и хитро подмигивает.

– Хорошо, – отвечаю и сам слышу, что голос подсел.

Открываю заново футляр, достаю баян, жду. Появляется Жужа.

– Вместо Монти,– объясняю ей,– я могу попроще, вот этот,– и начинаю играть.

– Чудесно,– соглашается она.– Только вы не мадьяр и играете не так, как надо играть. Я имею ввиду по ритму. Начинайте играть и слушайте меня.

Я опять начинаю играть, она стоит передо мной с закрытыми глазами и дирижирует:

– Медленно– медленно ... а теперь потихоньку ускоряйтесь ... теперь быстро ... совсем быстро ... как только можете..

Я старался смотреть на ее руки, а у меня перед глазами ее округлые коленки; крепкие, загорелые ноги. У меня от учащенного дыхания не получается медленно– медленно ...

Жужа вдруг открывает глаза и ловит мой взгляд.

– Не смотрите пока на меня так. Мы можем сорвать номер.

Это «пока» так бьет меня по голове, что я чуть не роняю баян. Чтобы скрыть смущение, я поправляю ремни баяна и бормочу:

– Что вы ... что ты ... я просто ... надо же куда-то смотреть ...

После третьего прохода все вроде бы в порядке.

– Вот и выучились, – заключает Жужа удовлетворенно и наклоняется ко мне, словно намереваясь обнять. Но не обнимает, а кладет руки на плечи и на миг прикасается всей грудью ко мне. Я чувствую эту девичью упругую грудь каждой клеточкой кожи, слышу чудесный запах ее волос – я почти в обмороке. Вдруг пронзает мысль: а может, она смеется надо мной – над советским солдатом, а после будет хохотать, как я обливаюсь потом при каждом ее прикосновении? Эта мысль, наконец, приводит меня в чувство, я резко встаю, готовый дать достойную отповедь, но Жужа не видит этого грозного движения. Она стрелой уже помчалась в боковую дверь.

И вот объявляют: «выступает танцевальный коллектив гимназии города Кишкун-Майша. Венгерский народный танец Чардаш. Аккомпанирует ефрейтор Южной группы войск Василий Соколов». Выходят несколько пар. В первой – Жужа. В национальном костюме. В черных, как смоль, волосах – алая роза. В глазах – огонь, блеск, кураж. Кармен, Сильва, Марица – все будет правильно. Боже мой, как она танцевала! Такого задора, соединенного с манящим кокетством, лукавством, красотой я никогда больше не видел, хотя повидал не одну сотню концертов самого разного уровня. И все время, вертихвостка, стреляла глазами в меня. Если бы я не выучил этот злополучный чардаш до автоматизма, я наверно, где-нибудь сбился бы. Но, к счастью, все обошлось благополучно.

Когда танец закончился, и все танцоры стали кланяться, Жужа вдруг подбежала ко мне и поцеловала в щеку. Зал взорвался новыми аплодисментами. Я тоже заставил себя подняться со стула и поклониться публике. А в голове плыл запах сладкого пота, исходящего от нее в момент поцелуя и острый конус смуглой груди, на миг мелькнувший в разрезе платья.

Концерт настолько затянулся, что об ужине нечего было и мечтать. А надо отметить что завтрак, обед и ужин – священные коровы армейского быта. Это в Союзе можно сбегать в магазин и подкрепиться, если опоздал, загулял или обленился. За границей не так. Все рассчитано до одной единственной калории. И если по какой-то, даже уважительной, причине не успел – значит, опоздал, потому что столовой надо готовить следующий прием пищи на две тысячи человек.

На вопрос, как будет с ужином, замполит сделал многозначительный останавливающий жест рукой: мол, не волнуйтесь, все будет о'кей.

И, действительно, для участников и одного, и другого концертов мэрия города и дирекция гимназии устроили банкет. Опять состоялось небольшое совещание: как быть со спиртным. Замполит сперва и слышать не хотел ни о каком сладеньком, некрепком, ни о каких «чуть-чуть», «чисто символически» и прочих хитроумных наших уловках, призванных скрыть от самих себя дальнейшее развитие событий. Уж он-то знал своих соколов. Чего только два кавказца стоят – огонь, порох, если что-то пойдет не так. Да и наши тихони не лучше, когда примут на грудь. Но с другой стороны, быть на венгерском банкете и не выпить стакан доброго вина – это уже слишком, это пахнет неуважением к хозяевам. Тем более, что публика приличная, музыкальная. Замполит опять решил взять на себя ответственность – мужественный человек, дай ему бог здоровья и продвижения по службе. Подполковник Кочергин, слышишь, мы через десятилетия помним тебя, дорогой.

Разрешили по сто грамм на каждого участника. С обеих сторон пятьдесят человек. Замполит сам стоял у дверей, когда вносили бутылки. 12 бутылок – и ни одной больше. Сам смотрел в стаканы. Мы понимали меру его ответственности, и даже внутреннего протеста ни у кого из нас не было. И на том спасибо.

Стали рассаживаться. Тут же прибежала захлопоченная Жужа:

– Я буду возле тебя, хорошо? Я не могу сейчас – помогаю. Пожалуйста,– сказала она умоляюще, взяв меня за руку.

Ох уж эта Жужа. Она не давала мне отдышаться, прийти в себя и все спокойно, неторопливо, со вкусом обсудить и переварить внутри себя. И без того впечатлений было слишком много для одного раза, а ей хоть бы что. Она и здесь верховодила, летала из кухни в залу, оттуда опять на кухню, отдавала распоряжения – была хозяйкой.

Когда подполковник поднял первый тост, Жужа наконец уселась возле меня.

– Все идет нормально,– сказала она, взяв со стола жесткую салфетку и обмахиваясь ею,– правда же, нормально?

– Выше, чем нормально,– сказал я искренне.

Оно так и было: после наших борщей и каш, макарон по-флотски и супа горохового стол был великолепен.

– Это называется по-нашему чолок,– Жужа показывала на свиную отварную ножку.– А это наш хлеб – кенир, а это халапси– заливная рыба. А это блюдо ты должен знать – это наш венгерский гуляш. А это – рыбный перкельт из судака. Это свинина по– тордайски, это свиные ребрышки в соусе. Вот гусиная шейка с начинкой. А так у нас готовят мамалыгу – попробуй. А еще попробуй гнездо яичное – очень вкусно.

Каждый раз, когда Жужа называла очередное блюдо, у меня непроизвольно выделялась слюна, и я вспоминал своих товарищей, возвратившихся с ужина с перловкой в брюхе. Как им рассказывать об этом избытке?

– А это печенка косули,– продолжала бубнить Жужа,– а это дикая утка паровая, а это крученики из телятины,– доносилось до меня, как сквозь сон, пока я уминал жареного гуся.

На некоторое время залегла обычная банкетная тишина, когда гостям не до разговоров и тостов. Особенно налегала наша военная сторона. Мы все уже почти насытились, а стол по-прежнему был полон. Жаль, что нельзя было свернуть это богатство в скатерть и бросить в нашу машину, чтобы в городке тоже полакомились.

И тут грянула музыка– наш музвзвод взял слово.

– Идем потанцуем,– тут же потянула меня Жужа. Я тяжело, как бомбовоз, поднялся, с трудом отрывая глаза от стола.

– Откуда ты так хорошо говоришь по-русски?– спросил я, когда мы вышли из-за стола.

– Во-первых, я хорошо учусь в школе,– шутливо сказала Жужа, положив мне руки на плечи и как-то загадочно, совсем по-другому, чем за столом, глядя на меня.– Во-вторых, я два раза была в «Артеке», а в третьих, у нас родственники живут в Берегове, я туда иногда езжу. Это у вас в Закарпатье, если ты не знаешь.

– Понятно,– коротко сказал я и надолго замолчал.

Я не танцевал более полутора лет. Когда тебе двадцать – это целая вечность. И вот изящное девичье тело вновь в моих руках. Мы танцуем танго. Жужа мягко льнет ко мне. Ее грудь то ли случайно, то ли намеренно постоянно соприкасается с моей, заставляя вспыхивать мое лицо и учащать дыхание. Сама прекрасная танцовщица, она не сопротивляется моим движениям и с видимым удовольствием отдается им. Ее волосы источают запах тонких духов. И так хорошо, так спокойно вдруг стало на душе, словно я, действительно, знаю Жужу давным-давно. Она, видимо, почувствовала мое настроение.

– Ты не спрашиваешь, почему я такая нахальная,– сказала она тихо.– А я тебе отвечу. Я совсем не такая, как ты можешь подумать. Просто мне давно снится чье-то лицо. И когда я тебя увидела, я поняла, что это твое лицо. Бывают же такие сновидения, почему так, а?

– Не знаю,– также тихо ответил я.– Мне все не верится, что это правда, а не сказка или ночной сон. Я не могу, не имею права в это верить. Я солдат, я не принадлежу себе. Это просто твой каприз. Вот завтра расскажу своим друзьям об этом вечере– и забуду.

– Э-э, не-е-т,– с прежним озорством и хитринкой в глазах возразила Жужа, пригрозив пальчиком.– Я тебе не дам так просто от меня избавиться. Мы с девчонками решили, что каждая выберет себе кавалера, хотя бы на вечер. Я выбрала тебя. И не только на вечер. Знаешь, какая я упрямая? Если уж что-нибудь взбредет мне в голову, я это так просто не оставляю. Я знаю: очень много наших девушек в других городах, где стоят ваши части, встречаются с вашими парнями. Почему бы и нам не встречаться?

– Мы же стоим не в городе. Нам не дают увольнительных. Пятнадцать километров все-таки ...

– А на этот случай у меня есть велосипед.

– А на этот случай у меня есть воинское начальство.

– А у меня есть папа. Он тоже начальник.

– И кто же у тебя папа?

– Директор этой гимназии.

– Ну и что может этот директор гимназии?

– Он меня любит.

– Ну и что из этого следует?

– А то, что когда человек любит, он может сделать все, что угодно. Например, договориться с вашим замполитом.

– У замполита есть свои права и обязанности. Он не имеет права отпустить одного человека в чужой стране. А я не умею ходить в самоволку, ночью куда-то бежать, крушить преграды, нарушать устав,– говорил я ей в розовое ушко, понимая, что такие доводы не поднимают меня в глазах Жужи. Но зато это честно.

– Мне так сладко, так хорошо с тобой, как будто я вечность тебя знаю,– сказала она воркующе с детской печалью.– Я уже не представляю, что я сегодня ночью буду делать без тебя и завтра днем. Прямо наваждение какое-то.

Танец кончился. Мы опять сели за стол, и я пробежал глазами, что бы еще съесть. Потом были другие танцы, мы танцевали только вдвоем, она решительно отказывала всем другим и зорко следила, чтобы и меня никто не приглашал. Улучив момент, Жужа потащила меня в боковую дверь, и в полутемном коридоре мы до беспамятства целовались, задыхаясь от долгих поцелуев и охватившей нас страсти, пока не раздался командный голос замполита: «Подъем, выходи строиться!».

– Ну еще разочек,– шептала она, обвивая меня руками и подставляя губы.– Ну а теперь в последний раз. И еще разик ... и еще.

– Жужа,– я мягко отстранил ее, сам опьянев от поцелуев.– Мне надо уже идти. Бежать.

Пока мы грузили свои лахи, она ухитрилась оттяпать мне добрячий кусок торта и сорвать еще несколько поцелуев. Она и вино мне предложила, но тут я категорически отказался, потому что это было бы нечестно по отношению к замполиту.

– Я тебя найду,– крикнула она мне напоследок.

– Кажется, наш баянист взял главный приз,– хохотнул Анатолий Андреевич, когда мы уже были в пути.– Красивая девушка, ничего не скажешь. Мне б такую.

Я не стал поддерживать этот разговор, и он угас сам собой. Все были переполнены впечатлениями и мясом. Каждый думал о своем. Я тоже. С одной стороны, подвалил счастливый случай, а с другой, до дембеля еще долгих полтора года – и вдруг эта неожиданная любовь, необходимость кого-то защищать и самому защищаться. И все это в положении рядового солдата – ох, как это давит. Ну да ладно, продолжения не будет – это ясно, как день.

– Ребята, что я вам принес,– сказал я, войдя в казарму. Все бросились ко мне. Я открыл футляр баяна и вытащил почти полторта. За этим последовал вздох восхищения и сластолюбивое потирание рук. Но что такое полторта на тридцать человек? По крайней мере, у всех на губах остался давно забытый вкус домашнего сладкого изделия.

Ну рассказывай, как там и что?– посыпались нетерпеливые вопросы. Моего рассказа ждали, заранее смакуя, намного больше, чем торт.

– Весь вечер я жалел, что вместо меня туда не поехал Романчук или Иванов– вот уж попала бы коза в капусту,– пошутил я и рассказал в подробностях, которых от меня обязательно требовали, все, как было, лишь вскользь упомянув про Жужу. О ней на следующий день я рассказал только Касимову, зная, что это мертво.

– Да-а,– протянул Касимов после моего подробного рассказа, улыбаясь мягкой своей улыбкой и покачивая головой,– бывает же такое.

– Бывает-то бывает, только зачем это мне надо?– горячо возразил я.– Мы с тобой спокойно служили день за днем, день за днем. Однажды проснулись бы– завтра домой. Теперь же ты будешь по-прежнему храпеть по ночам, как лошадь, а я буду ворочаться с боку на бок, вспоминать ее, чертовку; думать, как она там, с кем еще целуется.

– Зато будет что вспомнить,– сказал Хаби,– что у нас за три года?– занятия–обед, занятия– ужин, потом отбой.

– Хотя бы ребята из муззвода не разболтали,– следуя своим мыслям, продолжил я,– иначе затюкают. Ты тоже держи язык на привязи.

– Я буду молчать,– спокойно сказал Касимов.

Так прошло около месяца. На репетиции уже не вызывали, все подробности, известные моим товарищам, были многожды обговорены и обсосаны до приторности. Событие стало забываться. Я тоже постепенно успокаивался, образ Жужи размывался, выцветал, как выцветают от времени самые яркие картинки и вещи. И вдруг в одно из воскресений, на поле, где мы азартно играли взвод на взвод в гандбол, прибегает дневальный:

– Соколов, тебя вызывает дежурный по части.

С какой такой стати вызывать в воскресенье обычного ефрейтора в часть? Хорошего ничего не предвидится, значит, какая-нибудь пакость. Но и пакости вроде бы я никакой не натворил – в чем же дело?– с тревогой думал я по дороге.

Прибегаю в штаб. Дежурит майор Щербаков из первого батальона, мы с ним немного знакомы по комсомольской работе.

– Товарищ майор, ефрейтор Соколов по вашему приказанию прибыл.

Смотрю, Щербаков меня критически оглядывает.

–Почему сапоги не чищены, подворотничок несвежий, пилотку как носите?

– Товарищ майор, в гандбол...

Даю тебе двадцать минут привести себя в должный вид, умыться и тому подобное. Здесь к нему, понимаешь ли такая красавица пожаловала, а он ... неряха ... и когда они успевают ... все как будто бы на замке ... нет же...

– Разрешите идти, товарищ майор?

– Иди, и чтоб, как Аллен Делон был через двадцать минут.

Несусь во весь опор к себе, моюсь, чищусь, подшиваюсь, подмышки одеколоном, зубы пастой – и опять в штаб.

– Совсем другое дело,– говорит майор после тщательного осмотра.– На КПП тебя ожидают. Отпускаю под свою ответственность. Смотри, не подведи меня, Любоваться не более часа. Никуда не отлучаться – там есть комната, побеседуете, прохвост ты эдакий,– Щербаков говорит с неожиданной для него жесточенностью.

Иду на КПП и недоумеваю, почему майор злится на меня. На сердце и радостно, и тревожно»; иду медленно, чтобы опять не вспотеть и обдумать, как же себя вести, что говорить. В голове полный сумбур, а контрольно– пропускной пункт уже совсем рядом.

Вхожу к дежурному, а навстречу мне Жужа с заплаканным лицом и толстая какая-то. Молодой лейтенант молча показывает на соседнюю дверь и деликатно выходит.

Как только мы остаемся вдвоем, Жужа бросается мне на шею и заливисто смеется.

– Вася, ты не обидишься?

– За что?

– Два раза они меня не пускали. Пришлось сказать, что я беременна. После этого разрешили.

– Ты с ума сошла?! Теперь понятно, почему майор так со мной разговаривал.

– Это же понарошку. Смотри.– она подняла длинную кофту и показала живот, обвязанный каким-то тряпьем.– Здорово я придумала?

Я не знал, что и сказать. В комнату в любую минуту могли войти дневальные по КПП, дежурный или офицеры, которые выходили из части по своим делам.

– Ну обними же меня, я так хотела тебя увидеть,– из ее глаз готовы были брызнуть настоящие слезы.

Мы обнялись, и как только я прикоснулся к ее губам, почувствовал упругую силу ее гибкого тела, его радостную дрожь, я вновь потерял голову. Не было уже никого и ничего: ни КПП, ни солдат, ни офицеров – были она и я, и плевать мне на все условности мира. Мы огляделись,– комната была без окон,– выбрали самый отдаленный угол, откуда нас было меньше всего слышно, забились туда и целовались, как заведенные: жадно, долго, торопясь, что вот сейчас зайдет кто-нибудь, и кончится наше счастье, мы не успеем насладиться друг другом.

– Эй, вы там,– крикнули снаружи,– не так громко ... С ума сойти можно.

Мы на несколько мгновений затаились, а потом опять кинулись в объятия друг другу.

– Что ты все это время делала? – спросил я, переводя дух.

– Ходила, как сонная или загипнотизированная. Мать хотела меня уже у больницу везти. Ела через силу, чтоб ее успокоить. Все вспоминала, как мы целовались в коридоре. Как я не вспомнила, что там была одна пустая комната? Ругала себя на чем свет стоит. Забыла, оттого что вина тоже выпила. А ты? Помнил меня?

–Ты по ночам снилась мне. Раньше я спал без снов. Только недавно стал успокаиваться – и вот опять ты...

– Это плохо?

– Для солдата это плохо. Я опять не буду высыпаться. Хожу, как чумной, надо мной уже подсмеиваются: мол, поездка пошла не на пользу.

– А у тебя была девушка перед армией?

– Как тебе сказать: и была, и не была. Она не знала, что я в нее влюблен – мы просто дружили. Перед призывом она заболела, и меня провожали соседки, одноклассницы. А у тебя?

– У меня тоже еще никого не было. Это я с виду такая смелая. Я только тебя нисколько не боюсь. Я как увидела твои глаза, такие грустные, мечтательные, не такие, как у всех, так и втрескалась. И про сон свой вспомнила – я о нем тебе уже рассказывала.

Жужа немного помолчала, потом приложила палец к губам: –тсс!– и показала на дверь. Я понял. Выхожу. Близко никого. На улице май, солнышко уже припекает, в листве птицы снуют и перекликаются, воздух пахнет свежей зеленью, молодой травой, весело желтеют одуванчики. Дневальные, разморившись от весеннего тепла, увлеченно о чем-то беседуют между собой. Лейтенант сидит на лавочке, нервно курит; видно, думает о своем. Возвращаюсь в комнату.

– Все спокойно,– говорю я и предчувствую, что она выкинет сейчас какой-нибудь очередной фортель. Так и есть.

– Ты видел женскую грудь?– шепчет Жужа, как заговорщик.– Парни это очень любят. Хочешь, покажу?

Я не успел ответить, а она уже распахнула кофточку, платье– халатик, и обнажила увесистые, остроконечные грудки с темными кружками волос вокруг розоватых сосков.

– Поцелуй их,– попросила Жужа и вплотную подвинулась ко мне, поудобнее подставляя грудь.

Я сначала несмело взял в руку упругий ком, ощутив его сладкую тяжесть, потом второй, затем судорожно припал к теплому соску.

– Вот так, вот так, – жарко шептала Жужа, подняв голову и закрыв глаза. – Видишь, мне для тебя ничего не жалко. Тебе хорошо?

– Да, – выдохнул я, – а тебе? – и не дожидаясь ответа, опять припал к розовым ее тычинкам.

– Мне хорошо, если тебе это нравится, – прерывисто сказала она, ероша мои волосы. – Ты ... ты ... такой ласковый ... такой уютный ... боже, я вся дрожу.

У меня тоже все дрожало и рвалось наружу. Скажи еще месяц назад, что я способен на такие подвиги, я бы только рассмеялся. И где?! На контрольно– пропускном пункте – святая– святых военной части. Ну и Жужа. Или она в самом деле наивная девчонка, или, наоборот, прожженная ... Это сейчас я сказал бы наверняка, а тогда я тоже был, по существу, неоперившимся птенцом. Жужа это чувствовала женским своим нутром и потому была такой раскованной, откровенной и безбоязненной.

У меня все-таки хватало самообладания время от времени выглядывать наружу и оценивать обстановку. Несколько раз заходил к себе дежурный, мы издали слышали его шаги и чинно отодвигались, тихо беседуя. Когда он уходил, наши игры продолжались доизнеможения.

– Я тебе уже надоела, да? – через некоторое время, заглядывая мне в глаза, спросила Жужа, надеясь получить отрицательный ответ. Это в ней уже работало чисто женское.

– Ну что ты, Жужа – я, обессиленный, опустошенный, устало пытался ее опровергнуть.

– Знаешь, я хотела бы от тебя ребенка, – вдруг ошарашила она меня, опять тесно прижавшись.

– Зачем тебе это нужно? – вяло спросил я.

– Если мы не будем видеться, я этого не переживу. А будет ребенок – другое дело. Я уже не смогу умереть.

– Жужа, что ты несешь? – убежденно, почти с болью сказал я, снова оживившись. – Ты такая красивая, умница. Я до сих пор не пойму, зачем я тебе нужен. Я простой солдат, у нас в гарнизоне много молодых, красивых, неженатых офицеров, они в будущем могут стать генералами, а мне еще надо долго учиться. Не хочу тебя обманывать пустыми обещаниями.

– Никогда не говори мне, что ты простой солдат, – вспыхнула Жужа. – Ты не простой. Я сразу это поняла, как только тебя увидела. Ты можешь меня понять, что только возле тебя я чувствую себя надежно и тепло? Можешь? – переспросила она требовательно. – Ты никогда меня не переубедишь. Когда я тебя увидела, в твоих глазах была такая грусть, такая высота, что ты мне показался инопланетянином, случайно попавшим сюда, или принцем в изгнании. Ты и сейчас остаешься таким. И, пожалуйста, не говори больше глупостей, не считай меня глупой девчонкой, – она пальцем поиграла на моей губе, потом задрала мне нос и ласково-шутливо добавила, – понял, недотепа?

– Я говорю это, Жужа, потому, что боюсь обмануть твои ожидания, – продолжал я, обняв ее и опять возбуждаясь помимо своей воли и в полном противоречии со своими словами. – Я сам плохо защищен, а с тобой и подавно. Ты видела, как на тебя смотрел лейтенант? И майор тебя назвал красавицей, несмотря на твой маскарад. А если ты оденешься, как следует ... Тебя будут осуждать дома твои родители и соотечественники, а на меня будут коситься сержанты, офицеры, шпынять по каждому поводу, насмехаться. Я и без того здесь белая ворона, я отказался от себя, я растворился в солдате и не хочу ничем выделяться. Мне так легче переносить тяжесть, что свалилась на меня. А здесь вдруг ты ...

– Так я тебе, наоборот, буду помогать. – обрадовалась Жужа. – Не бойся, возле тебя я стану в десять, в сто раз сильнее. Я и тебя смогу защитить, – в ее голосе прорвалась прежняя Жужа, веселая, озорная и сильная.

Вошел лейтенант.

– Будем заканчивать, ребята, – сказал он сухо.

– Да-да, мы уже уходим,— торопливо подтвердил я, зная, что разрешенный час уже истек. Жужа поправила на животе свой камуфляж и тоже поднялась.

– В следующий раз мы отпросимся на часок прогуляться вдоль шоссе,— многозначительно шепнула она мне на ухо.—Готовься.

– Жужа,— сказал я искренне,— ты рвешь мне сердце,— ты утяжеляешь мне службу в десять раз. Мне не хочется с тобой расставаться. Если это всего лишь прихоть— это будет грех твой перед богом.

– Я очень верую в бога и боюсь его прогневить,— счастливо ответила Жужа, садясь на велосипед.— В воскресенье я буду у тебя в 11.00, хорошо?

– Да-да,— охотно подтвердил я,— обязательно буду тебя ждать.

Всю следующую неделю я жил, как в угаре, мне снились чудесные сны, любые неприятности были по фигу, казались ничтожными по сравнению с радостью будущей встречи. Ребята, все-таки узнав о происшедшем, набросились на меня с расспросами, но я, кроме общих слов о встрече, не захотел больше ни о чем распространяться, и они поняли, и отстали. « У них любовь!»— подняв палец вверх и оттопырив губу, глубокомысленно заключил Романчук. А о любви не принято говорить на миру с шутками и прибаутками.

Я жил этой встречей, я уже соединил себя с этими глазами, запахом волос, смуглой кожей, переливами голоса, атласным блеском вишневых губ, детскостью и смешливостью, теплотой тела, свернутого уютным котенком у меня под боком.

В то воскресенье я тщательнее обычного мылся, брился, гладил брюки, гимнастерку, сменил подворотничок, только вчера подшитый. По радио передавали что-то о рапсодиях. Я с радостным оживлением прислушивался, стараясь отвлечься. Оказывается, рапсодия – это музыкальное произведение на тему народных песен и сказаний. В подтверждение из динамика полилась мягкая, лирическая « Венгерская рапсодия» Фредерика Листа. «Будет о чем рассказать Жужа»,— подумал я и стал еще внимательнее слушать передачу.

И вдруг музыка резко оборвалась, и прозвучал сигнал боевой тревоги. Это было 15 мая 1968 года. Для нас начались чехословацкие события. Первым из городка вылетел ракетный дивизион, вооруженный ракетами с тактическим ядерным оружием. Затем нашу милитариальма– матер в расчетное время покинули и мы. Вся дивизия ускоренным темпом ринулась к австрийской границе, круша танками небольшие мосты и перемалывая успевший размягчиться под майским солнцем тонкий асфальт дорог. Австрийскую границу мы закрыли. Против нас стоял вооруженный до зубов 3-ий армейский корпус США, тоже с ядерным оружием. Что ж, мы были начеку и не боялись ... И американцы это понимали. Это сейчас они готовы бряцать оружием, где им только вздумается, а тогда и не шелохнулись.

Кто бы там что ни говорил, мы защищали интересы своей страны, как мы их понимали, и защищали умело, с достоинством и честью, как и положено солдатам, как велит воинский и человеческий долг.

Вот только Жужу свою я потерял навсегда. Ко всем потерям тех давних чехословацких событий, надо бы прибавить и эту— бесплотную, неучитываемую в военных сводках, но невозполнимую для меня потерю. Демобилизовавшись, я даже написал письмо в Кишкун-Майшу. Оттуда вежливо и официально сообщили, что Жужа Калнаи уехала учиться в Англию. Через два года, когда я уже был студентом Донецкого университета, на мой адрес в Николаеве пришло еще одно иностранное письмо, мать отложила его дожидаться меня, но в доме слишком много толкалось родственников, и письмо неожиданно исчезло. Скорее всего кто-то из детей позарился на иностранные марки, густо наклеенные на конверте. Через несколько лет мне удалось поехать туристом в Венгрию, но Кишкун-Майша слишком далека от обычных туристических маршрутов, и на мои тихие, неуверенные просьбы на часок свернуть в сторону, никто из шоферов не отреагировал.

Но Венгрия, дорогая Венгрия, отныне и навсегда останется в моем сердце. Здесь, в ее благодатной земле я оставил почти три года своей незабываемой молодости, здесь я нашел и потерял мою первую любовь. Теперь после Украины и России я всегда болею за Венгрию, всегда жадно слушаю новости из этой страны, всегда страдаю, когда там наводнения и прочие природные напасти или экономические и политические трудности, а в моей душе будет всегда звучать неоконченная мной и Жужей венгерская рапсодия на вечно насущную, вечно народную тему– тему любви.

Чужие

Поздним ноябрьским вечером, дождливым и холодным, когда кажется, что стоит уже глубокая ночь, глухо загудел мобильник, оставленный в кармане пальто. Хозяин, тридцатипятилетний инженер Михаил Милютин, корпевший над расчетами, несмотря на уговоры жены посмотреть интересную телепередачу, шумно отодвинул кресло и заторопился подальше от Валентины: вечно она придирается, что не так говоришь, не то отвечаешь, зачем ты это сказал и прочие бабские лясы. Тем более, если звонил Борис, а в это время звонить мог только он.

– Привет, не спишь?

– Не сплю. Интересная идея подвернулась.

– А что завтра собираешься делать?– вопрос Бориса прозвучал язвительно.

–Еще не знаю, скорее всего то же самое.

– Ну вот, я тебе говорил!– слышно было, как Борис бросил это в сторону, наверно, жене.

– Ты, конечно, забыл про 10 сентября?– в голосе друга опять прозвучало ехидное утверждение. – Мы, собственно, никого особенно не приглашаем, кроме...– Борис на мгновение запнулся,– в общем, кто сам придет. А тебе решили позвонить, зная твою забывчивость.– Борис немного помолчал и с ударением добавил,– и обидчивость тоже.– Он снова сделал паузу, словно давая переварить сказанное, а потом решенным голосом закончил:– ждем вас на 18.00. Привет!– мобильник умолкнул.

Уже идя в спальню, Михаил вспомнил, что десятого сентября– день рождения сына Нечаевых Димки. Его немного покорила та обязательность, с которой он обязан был знать это. «Достаточно, что я помню твой день рождения»,– мысленно ответил он Борису.

– И хватает же у людей совести звонить в такое время!– сердито сказала Валя, навстречу мужу. – Борис?

– Что ты знаешь, женщина?!– несколько торжественно произнес Михаил.– Он может позвонить в три часа ночи, и я не обижусь, если я нужен другу.

Милютин с удовольствием от проделанной работы разделся, открыл забрызганную дождем форточку, через которую хлынул стылый воздух, приятно охлаждая натопленную комнату, и лег. Валя сперва отстранилась, но стоило ему примирительно обнять ее, прильнула к сильному, надежному телу мужа.

– Нечаевы приглашают нас завтра. На день рождения Димки, – сказал Михаил с расстановкой и немного важничая: все-таки позвонил ему друг, отличил старого товарища. И даже хорошо, что в такой поздний час позвонил.

– Наверно, долго думали, приглашать или нет,– прокомментировала Валя с оттенком неодобрения.

Было тепло и уютно под широким верблюжьим одеялом. Свернувшись калачиком и положив голову на плечо мужа, Валя помолчала, а потом воркующе заговорила:

– Ты только не обижайся, хорошо? Вы были с Борисом друзья в институте, здесь. Но теперь у него семья, у тебя семья. Ты на одном конце города, он– на другом. Ты злишься, если видишь его среди высоких людей, нервничаешь– я же вижу. Тебе обидно, что Боря обошел тебя.

– Ничего мне не обидно,– перебил Милютин.– Он всегда был дельнее.

– Правильно. У Нечаева уже своя собственная фирма, шикарная тачка, скоро дом собирается купить, а ты, головушка,– Валя любовно потрепала его волосы,– ты к этому не приспособлен. И нечего обижаться– надо искать новых друзей, одного поля ягоду, разве не так?

– Так, да не так,– уже холодно ответил Михаил.

Они надолго замолчали.

– Давай будем уже спать,– наконец сказала Валя, заметив, что муж напряженно о чем-то думает.

Он не ответил. Через несколько минут жена уже спала, тихонько присвистывая, а Михаил еще долго лежал с открытыми глазами... что она знает про дружбу?... в институте они были неразлейвода: в общежитии вместе, в аудитории вместе, на похождения вместе. Домой к

Борису ездили вместе. Родители его– сталинской закалки, колоска чужого не возьмут, а уж принимали, как родных братьев. Милютин и в институте был отличником, а Нечаев поступил с подготовительных курсов и успехами в учебе не блистал. Злые языки поговаривали: знаем этого Нечаева, специально к Милютину пристроился, чтобы контрольные было кому делать. Но Михаил так не думал, они дружили искренне и помогали друг другу, как могли. Милютин был умнее, тоньше, Нечаев практичнее. Эта связка работала безукоризненно, вызывая зависть однокурсников и большие надежды преподавателей... Михаил откинул свой край одеяла, не в силах без волнения вспоминать прошлое, такое далекое и такое близкое... какое время было! Как им было хорошо! Он готов был за друга положить жизнь, не колеблясь. Память услужливо вытаскивает берег моря, которому ни до чего нет дела, и оно лишь благодушно отдувается... студенческий молодежный лагерь, где они отдыхали... кампания молодчиков, окруживших Бориса... его, Милютина, спешащего на подмогу. Вот он на миг остановился, когда увидел, что вместо двоих, как ему сказали, возле Бориса уже четверо, огляделся, надеясь на помощь, но заметил только непроницаемые лица нескольких знакомых парней–студентов, проходивших стороной и делающих вид, что они ничего не видят и не понимают. Услышал бешеный стук сердца. « Что будет, то будет...»,– сказал он сам себе, направляясь к Борису... нож пьяного местного бандита, низкорослого, свирепого, вписался в дугу вокруг тела Михаила и чиркнул бок. Увидев кровь, кампания быстро смылась, оставив порезанного Милютина наедине с перепуганным насмерть Борисом. Он с дикими от ужаса глазами, согнувшись, как будто и сам был ранен, заглядывал в лицо сидящего на песке Михаила и все приговаривал:» ой–йо–йой, чтож теперь будет... выкинут из института... ой– йо–йой...

– Вызывай скорую,– зло сказал Михаил,– причитаешь тут...

Милютин заворочался. Так зримо все явилось, что снова стало душно, жарко.

– Ты чего?– сонно спросила Валя и опять умолкла.

Михаил осторожно вытянул руку из–под ее головы и чуть отодвинулся, чтоб не беспокоить жену. «Ну да, у Бориса теперь фирма, а он, Милютин, старший инженер отдела, хоть и ценится начальством. Валя права: разные интересы, разные возможности, институт уже не вернешь... жена, дети. А с другой стороны, есть разные полочки в душе человека: есть для семьи, для работы, есть и для друга– почему бы и нет».

Иногда по вечерам до чертиков хотелось позвонить Борису, полакомиться несколькими минутами беседы, хлебнуть воздуха прежних отношений. Наверно, он больше чем по Борису, скучал по тому времени, когда меньше было денег, но все было сочнее, цветистей, честнее. Михаил все понимал: и то, что время не вернешь, и то, что условия поменялись, и то, что они уже в разных весовых категориях, но все равно хотелось верить, что они способны пройти и это испытание. Но не получалось. Борис часто находился, как он сам говорил, в цейтноте, и после натянутого разговора приходилось горько сознавать, что общего у них все меньше. В такие минуты казалось, что внутри отрывается что-то живое, источающее острую боль.

« Черт возьми, что он в самом деле расхандрился? У него красивая и любящая жена. Дочка спит в соседней комнате– не налюбуеться. На работе его ценят. Сократились до белых костей, как говорится, а он остался. Теперь опять нужны комбайны, пошли заказы, завод возрождается, он получает высокую стабильную зарплату. Чего еще надо? Не получается дружить– ну и не надо. Проживем».

Милютин решительно повернулся на правый бок, стараясь обхитрить себя и уснуть. Но думы настырно лезли, хоть кол теши. « Легко сказать– ищи новых друзей. Что новые? Разве

они часть тебя— лучшего, молодого, того, который уже прожит? Разве они могут понять тебя с полуслова, с полувзгляда и даже молча? Разве он поставит на кон свою жизнь за них? Эх, Борис, Борис, не знаешь ты, что теряешь, как еще сложится жизнь. Сколько фирм создано и сколько уже разорилось, и сколько еще разорится, а дружба, она и есть дружба, она навеки; еще быть может, понадобятся руки Милютин и его мозги, и его сердце... Ладно, в самом деле, надо спать, это погода такую хандру навевает. В конце концов, видишь, позвонил».

Милютин и во сне еще долго ворочался, чмокал губами и один раз так застонал, что жена проснулась и стала его тормошить, он бессвязно что-то сказал, продолжая спать.

... На лестничной площадке остановились, чтобы отдышаться: лифт не работал. Валя принялась охорашиваться.

— Увидишь— мы будем первыми,— сказала она, вконец измученная и уставшая от придинок муж, от его спешки, окриков. Чего стоил один только выбор подарка, которого так и не купили.

— Зато уже на месте, — примирительно ответил Михаил.— Мы не начальство, чтобы опаздывать. Чувствуешь себя дурак дураком, когда на тебя все глазают и ищут место, чтоб ты пристроился, как бедный родственник. И без того будем, я чувствую, на птичьих правах.

Тамбур квартиры Нечаевых был наглухо закрыт аляповатой, с претензией на нечто оригинальное декоративной стенкой, в которую была вмонтирована дорогая импортная дверь. Почему-то заранее улыбаясь и злясь на себя за это, Милютин позвонил. Дверь довольно долго не открывали. Наконец после продолжительных манипуляций с замками она открылась, их встретила хозяйка— тонкая, изящная блондинка вся в мелких кудряшках волос, в шикарном вечернем платье и с дымящейся сигаретой в зубах.

— Мы не слишком...— громко начал Михаил, но зайдя в прихожую и поняв, что никого еще нет, упавшим голосом закончил,— рано?

— Вы такие обязательные,— ответила Анжелла, и было непонятно, то ли это хорошо, то ли они приперлись некстати.

После ритуальных поцелуев гости прошли в комнаты. Действительно, кроме хозяев и нанятой кухарки в квартире никого еще не было.

— Выходит, мы первые...— растерянно сказал Михаил, оглядываясь и видя, что стол еще не накрыт и вообще гостей еще не ждали. Вышедший навстречу Нечаев с нарочитой хитростью в голосе сказал:

— Так и было задумано. Чтоб ты, товарищ Милютин, не вздумал опаздывать, как обычно, я пригласил вас на час раньше. Не предполагал, что вы сильно изменились.

Он крепко пожал руку Михаилу и подчеркнуто-внимательно оглядел его с ног до головы:

— Ты в своем репертуаре, мог бы одеться и более...— Сам Нечаев был в строгом костюме и при галстуке.

— Не понял, я пришел в гости к другу,— ответил Михаил, слегка обиженный такой предусмотрительностью товарища,— а ты, я вижу, вырядился, как бывший инструктор обкома партии перед встречей шефа или мелкий клерк в солидной фирме, что за дела?

— Тсс!— Нечаев приложил палец к губам.— Я же тебе говорил, что будет шишка? Или нет? Уже не помню. Надо соответствовать.

— Честное слово, Боря, если б я знал, что будет шишка, я бы остался дома. Тебе мало работы на фирме, так надо и праздник превращать в мероприятие?

— Не выступай,— Нечаев дружески похлопал Михаила по плечу.— Идем на балкон поговорим, пока есть время.

— Подожди,— отмахнулся Милютин,— где же главное действующее лицо, где именинник?

— Дима,— позвал Нечаев,— иди сюда.

Из комнаты выскочил мальчуган лет восьми, с интересом поднял на гостя глаза, зная, что сейчас ему будут вручать подарок.

– На, это тебе,– Михаил с грубоватой простотой вручил мальчику в скромной рамке картину, на которой рукой самодеятельного, но не обделенного талантом художника был изображен восход солнца над большой рекой.– Поздравляю. Расти большой, да не будь лапшой. Люби все настоящее, как эта картина.

Видно было, что Дима остался не очень доволен подарком.

– Симпатичный пейзаж, – вставила Валентина, пытаясь говорить доверительно с хозяйкой. Не могла же она сказать, что Миша очень любил эту картину, выигранную им на каком-то конкурсе.

– Очаровательная вещица,– равнодушно сказала Анжелла, взяв из рук мальчика картину и мельком посмотрев на нее, стала шарить глазами по стенам гостиной, выискивая, куда ее можно пристроить. Видимо, не найдя такого места, она вместе с мальчиком ушла в его спальню, незаметно скорчив гримасу недоумения.

Милютины давно не гостили у Бориса, и тот повел их осматривать новинки. Посмотрели кухню, где и раньше было хорошо, а теперь сменили старый кафель на самый дорогой, купили итальянский кухонный гарнитур, повесили новый плафон– сказка, а не кухня. В ванной блестели респектабельностью краны и смесители немецкого производства, опять же новый кафель выполненный в виде картины, новая акриловая ванна, более просторная и удобная. Сам Борис демонстративно открывал двери и шутовски кланялся: смотрите, любуйтесь, завидуйте. Однажды Валя красноречиво показала мужу глазами: нам бы так. В ответ Михаил только хмуρο глянул. Дома он все делал своими руками, добротнo, надежно, но материалы, конечно, покупал не такого качества.

Когда выставка тщеславия закончилась, друзья вышли на балкон, где стояли шезлонги. Валя покорно пошла за Анжеллой в спальню, где та решила показать ей обновки– последний писк моды.

– Ты думаешь, я зря тебя пригласил?– с прежней хитрецей в голосе сказал Борис. с удовольствием усаживаясь в кресло–шезлонг.– Ты начальника снабжения своего хорошо знаешь?

– Знаю. Мы заказываем– он поставляет.– ответил Милютин,– такие отношения.

– Вот-вот,– быстро подхватился Борис.– То, что нужно. Ты можешь попросить его заказать у меня на фирме что-нибудь? Токарный участок простаивает, абсолютно нет заказов.

– Не могу. У них там своя кооперация, своя система договоров– в общем, своя империя. Сразу возникнут подозрения, что я хочу что-то с этого поиметь...

–Ну и что? Кто сейчас не хочет что-то поиметь? Тем более на законном основании?

Мишка, ну ради меня, а?

– Ну хорошо, попробую, ради тебя. Только давай так: никакой химии. Вместо легированной стали не покупай дрянь в три раза дешевле, а потом мы будем ломать голову, отчего комбайн не идет. Ты понял?

– Я все понял, Миша, не в три раза дешевле, а только в полтора, разницу пополам. Идет?

– Будешь говорить мне о разницах– разговор окончен.

– Ну хорошо-хорошо, больше не буду,– поспешил Борис,– это я буду с другими решать. У меня к тебе еще более перспективное предложение,– он замолчал, испытующе глядя на Милютина.

– Ну говори,– подстегнул тот.

– Есть возможность толкнуть тебя туда,– Нечаев ткнул пальцем вверх.– Будешь отвечать за инженерное обеспечение. А иногда, когда выпадет подходящий момент, мы с тобой цап-царап,– Борис игриво пошевелил пальцами.

Милютин снисходительно и устало рассмеялся:

– Боря, у тебя клиника, надо к врачу. Во– вторых, ты, наверно, неправильно представляешь мое положение. Слава богу, прошло то время, когда я клевал манную кашу и кильку. Я сейчас старший инженер, по существу, начальник отдела– столоначальников теперь не дер-

жим. У меня два изобретения, куча рацпредложений, научные статьи. У меня приличная по нынешним временам зарплата. Через неделю еду в Белоруссию в Гомельсельмаш, у них там что-то не получается, обещают самые комфортные условия.

– Бабу под бок обещают?– быстро спросил Борис.

– Нет, не обещают,– без тени юмора ответил Милютин,– вот в Польше намекали и на этот вариант.

– Тебе и Польшу предлагали?– загорелся вниманием Нечаев.

– Предлагали. Они там собираются совершенствовать собственный комбайн, но не очень идет, просили поучаствовать. Я отказался, как ни банально это звучит, из патриотических соображений.

– Отказаться от такого предложения, это же Европа!– Борис откинул голову назад и развел руками, изображая крайнюю степень глупости такого решения.– Мишенька, ты конченный– это точно.

– Это ты, Борис Павлович– конченный. Все пыжишься, как хвастливый заяц. Я помню, как ты стоял в троллейбусе на носках, чтобы казаться выше. Ну то понятно– хотелось нравиться бабам. Но сейчас зачем?

Нечаев слушал с легкой скептической улыбкой. Иногда образовывались продолжительные паузы, которых Михаил боялся больше всего и старался заполнить, чем попало. Ему представлялось, что только он понимает, что не о чем разговаривать и не хотел, чтобы это понял Борис. Наивно, конечно, но что поделаешь. Раньше они могли калякать между собой часами и не могли наговориться, а если и молчали, то не чувствовали в этом никакого дискомфорта.

Но не все ушло в прошлое. Потихоньку они увлеклись, старые друзья.

– Ты знаешь,– сказал Борис, воровато оглядываясь на дверь и понижая голос,– недавно ездили к ее родителям...

Он рассказал, как его замучила свора собачек от шпица до ньюфаунленда, мимо которого он так и не научился ходить безбоязненно; ощущение хаоса при относительном порядке; тончайшие лепестки хлеба на завтрак и ужин, после которых надо было бежать в ближайшую кафешку перекусить основательно; толстая, мясистая теща с утробным благородством на лице и манерами барыни-купчихи. У Бориса создавалось впечатление, что она тайком от зятя уpleteает бутерброды в чулане.

– Анжелла в отместку сказала, что терпеть не может моих родителей,– закончил Нечаев.

Михаил, в свою очередь, рассказал пару эпизодов из своей семейной жизни, в которых он был неправ и которые его мучили.

Посреди беседы вдруг раздался звонок у двери.

– Все, закончили,– изменившимся голосом прошипел Борис, вскакивая.– Ты– главный инженер завода, понял?

– Старший...– бросил ему вдогонку Милютин.

Он машинально глянул на часы: пришло урочное время. Михаил был рад, что все так хорошо, так ладно получается. «Мнительность моя– только и всего»– подумал он о своем.

В гостиную с Борисом вошел высокий мужчина лет сорока начальственного вида.

– Мой товарищ по институту, ведущий инженер завода,– представил Нечаев друга с тем лицом, которого не любил в нем Михаил.

– Виктор Юрьвич,– строго сказал гость и подал мягкую, пухлую руку чиновника со стажем.

После этого звонок звенел несколько раз. Никого из гостей Михаил не знал– то, наверно, были все нужные Борису люди. Выходило, что он соврал ему, когда говорил, что никого не будет – Михаил с легким уколом в душу отметил эту маленькую ложь Нечаева.

Заметив, что Виктор Юрьевич несколько раз нетерпеливо прошелся по комнате, заложив руки за спину и нервно теребя пальцы, хозяин поспешил пригласить гостей к столу, не дожидаясь.

даясь остальных. Первый тост был за высоким гостем. Он долго и отвлеченно говорил о семье и детях, взаимной ответственности, и кое-кто из сидящих уже начал насмешливо переглядываться. Наконец оратор закончил, все шумно встали, чокнулись бокалами— и пошло, поехало по наезженной колее.

После первого стола женщины принялись судачить о своем, мужчины столпились на балконе курить. Милютину тоже хотелось там потолкаться, но он не курил. Иногда оттуда доносились развязные возгласы и хохот: очевидно, рассказывали похождения и анекдоты. Михаил уже в хорошем подпитии, усевшись на диване, нашел глазами Валу, неприкаянно стоявшую возле стайки женщин. С мстительной горечью он отметил, что жене на этот раз изменил вкус: надетое с его подсказки легкое летнее платье с короткими рукавчиками смотрелось не по сезону.

Заиграла музыка, сделали полумрак. Бойкая хозяйка стала тормозить мужчин. Все задвигались, в гостиной стало душнее, тесней, неразличимей. С трудом можно было разглядеть чье-то потное, угрюмо-сосредоточенное лицо, льнущее к другому, или, наоборот, развеселое, азартное— и снова платья, кофточки, брюки, рубашки.

Милютин, забившись в уголок дивана, занялся тем, чем он всегда занимался в гостях после крепкой выпивки— витал в эмпиреях, а говоря проще, сонно дремал, улетая в мыслях далеко-далеко от этой душной, потной, прокуренной комнаты.

Услышав движение, шум, Михаил открыл глаза. В комнате опять ярко горел свет. Гости, столпившись полукругом, хохотали, глядя на него.

—Еще один случай,— с ужимкой клоуна комментировал Борис, глядя прежде всего на Виктора Юрьевича.— Захожу в комнату— а он дирижирует перед телевизором.— Опять взрыв пьяного хохота.— Милютин, говорю, что ты делаешь, в своем ты уме? «5-ую симфонию Чайковского передают, мою любимую,— отвечает.— и я, так сказать, в приливе чувств...выражаюсь...».

Снова дружный смех. Милютин затравленно огляделся. В противоположном углу дивана сидела Валя, вся сжавшись в комок, она изо всех сил удерживала на лице узкую, вымученную улыбку.. «Еще тебя не хватает с твоим страданием на мою голову»— подумал Михаил, чувствуя, как закипает яростью.

— Что кривляешься?— огрызнулся он.— Нечего больше делать? Говорите о взятках, откатах, марже—очень нужная, своевременная, а главное, увлекательная тема. Танцуйте под Машу Распутину, играйте в карты, что я вам?

— Он вскочил, хотел уйти, но не владея собой от стыда и унижения, сотворенного его же другом, вдруг схватил нож и и со всего маху брякнул им по столу. Нож несколько раз подскочил, упруго изгибаясь, пока ни зацепил хрустальную рюмку. Раздался мелодичный звон, и осколки блестками посыпались на пол. Анжелла вскрикнула в хозяйственном ужасе а Валентина помчалась на кухню за веником. Бледный, вспотевший, жалкий в своем неоправданном гневе, Милютин снова сел. Он хохлился на диване, как ворон, всем своим видом нарушая идиллию праздничного застолья. Борис подошел к Виктору Юрьевичу и что-то тихо говорил ему извиняющимся голосом. Тот успокаивающе кивал головой:нет— нет, не беспокойтесь, все хорошо, он все понимает— затесался чужой. Впредь надо быть более щепетильным в выборе друзей. Нечаев мелко и часто кивал головой.

Через некоторое время все опять сели за стол, восславили Бахуса, как выпренье сказал кто-то из гостей, и инцидент забылся. Выждав необходимую паузу, Милютин вышел на балкон со стороны кухни. Через некоторое время туда зашел и Борис.

— Ну что ты всегда лезешь в бутылку?— с досадой сказал он.— Что ты выиграл этим? Посмеялись с тебя, как с дурачка— и все.

— А раньше не как с дурачка?— возразил Милютин.

– Пошутил бы сам, посмеялся бы со всеми, или наконец промолчал бы. Ты так смешно сидел, что я не выдержал.

– В другой кампании не сидел бы так смешно, – мрачно ответил Михаил.

– Это уж ты извини, – жестко парировал Борис, но на кухню вошла невысокая худенькая женщина с маленьким птичьим лицом – ей нужна была вода запить таблетку, и хозяин замолчал, а потом занялся гостьей.

Удивительный человек этот Борька. Или, может, это он, Милютин, удивительный. Стоит Борису сделать полшага навстречу – и все уже прощено, забыто, снова верится в лучшее. Михаил еще постоял немного, поглядел на красивый, усыпанный огнями ночной город и вернулся к гостям. Его тут же « изнасиловали » на полный стакан водки. Он опьянел вконец и уже вместе со всеми и громче всех горланил песни, смеялся зло и громко, с бешеным азартом танцевал, опять внося дисгармонию и заметно искривляя пространство вокруг себя. Потом, обессиленный, плюхнулся на диван. Пот градом катил с лица. Волосы – ключьями. Измятая, настежь расстегнутая рубашка, грудь, руки – все было мокрым, липким, неприятным. Даже Димка, снующий взад-вперед, остановился посмотреть на дядю, от которого исходило частое, шумное: хы. хы. . . хы. А дядя, увидев возле себя именинника, расплылся в умильной улыбке, затем пальцем нажал Димкин плюшевый носик:

– У – лю – лю, растешь парень, я тебя маленьким помню.

– Михаил, – строго скомандовала Анжелла, заметив, что тот ласково потрепал Димку по щеке, – не трожь ребенка, кожу ему испортишь.

« Говори, говори, это не кожа – это я тебе мешаю », – снова набычившись, пьяно размышлял Михаил.

Милютин уже успел уронить голову, когда Валя стала тормозить его. Михаил встал, покорно побрел за женой, также по-детски стоял, пока Валя одевала на него куртку, с готовностью вытягивал руки. Милютина торопливо попрощалась со всеми, Михаил только поднял руку в приветствии.

– Жена, – с чувством сказал Михаил, когда они вышли из дома на холодный, крепкий ветер, – дай я тебя поцелую. За все, за все. . . Он ласково обнял ее, такую милую, славную, все понимающую. . . у нас таких обоев нет – ну и хрен с ними, с обоями этими. . . как будто все дело в обоях. . . да. . . я эти обои.

– Мишенька, не ругайся, люди вокруг. . . дались тебе эти обои.

– Валюня, не в обоях суть. . . жизнь пошла другая. . . а душа не принимает. . . понимаешь, Валечка?

– Понимаю, Миша, понимаю, – покорно соглашалась жена, – ты только говори тише,

– Пропал Борька, – жаловался кому-то Милютин, бредя и натываясь на жену, – а ведь был хорошим человеком. Почему деньги так быстро портят людей? А? « Его засосала опасная тряпина. . . » – вдруг разнеслось по сонной улице.

– Перестань, – урезонила Валя, – еще в милицию попадешь, горе ты мое луковое.

Михаил послушно замолчал, но, видимо, обида так жгла ему душу, что он не выдержал:

– Удивил: паркет, хрусталь, кафель везде, – слышалось его бормотание. – Скоро слоников наставит, начал уже лосниться. « Не смейтесь громко – Виктор Юрьевич этого не любит », – Милютин скорчил испуганную мину Бориса. – А забыл, как мы по очереди один костюмчик. . . картошечка утром и вечером. . . и ничего, прожили. . . теперь им нужен шарм, – голос Михаила опять издевался над кем-то. – Хотел бы я видеть, куда эти гниды исчезнут, если что-нибудь. . . – Милютин хитро повертел пятерней, изображая это « что-нибудь ». Его пошатывало, он все еще был в том чаду, когда все качалось перед глазами и выплывало то настоящее, то прошлое – не поймешь, где что. Вот опять песчаный берег. Борис в частоколе хмурых, готовых на все взглядов; он, Милютин, задыхающийся от бега и тревоги за друга. И никого. . . никого больше.

«Легкое дело» Николая Кулиша.

Стояло тихое, звонкое, гулкое утро, какое бывает только в мае. Природа словно напоминала людям, как прекрасен этот мир, и что на пиршество жизни приглашены все в равном звании: стар и млад, нищий, и богач, красавец и образина, мудрый и дурак, смельчак и трус. Всем светит солнце и зеленеет трава, для всех цветут деревья и благоухают розы, все имеют право быть счастливыми. Спокойно поднималось на работу трудяга-солнце, в чистейшем воздухе, еще сохранившем ночные запахи расцветающей акации и уже цветущей сирени, жило ощущение будущего нежнейшего зноя. Милое, уютное, задушевное утро, как неожиданный подарок всем счастливым и всем страждущим.

В бодром расположении духа проснулся и следователь Петр Васильевич Сидоренков. Он свесил ноги на прикроватный коврик, с удовольствием потянулся, ощущая игру молодых, нерастратченных сил. Ему было уже под сорок, но выглядел он куда моложе. С кухни уже аппетитно тянуло его любимой яичницей с беконом, и надо было поторопиться, чтобы съесть ее свежей— с пылу и жару.

Петр Васильевич быстро сделал несколько легких упражнений, зашел в ванную, побрился, принял освежающий душ, и сильный, бодрый, молодой, сел за стол, поздоровавшись с женой. После яичницы Лена подала ему чашку горячего молока с жирной пенкой, которую Сидоренков тоже очень любил. Но на этот раз пенка показалась Петру Васильевичу тонкой и не очень жирной, о чем он и сказал жене.

—Три дня уже нет почему-то молочницы, у которой я обычно покупаю,— оправдывалась жена,— пришлось взять у незнакомой.

—Разводит, небось, стерва,— брюзжал муж.— Ты ей намекни, с кем имеет дело. Я хоть и занятой человек, но могу быстро ей повысить жирность.

Лена как—то странно глянула на него, но промолчала. В последнее время они все меньше понимали друг друга, исчезла свобода, задушевность в их отношениях. Муж все чаще приходил поздно, недовольный, нервный, мог вспыхнуть по любому поводу. Лена понимала, что у мужа ответственная работа, но понимать— еще не значит принимать. Она заметила, что у Петра появилось некоторое «головокружение от успехов», как писал товарищ Сталин, правда, по совсем другому поводу.

—Ты сегодня придешь вовремя?— спросила Лена, тоже садясь к столу.

—Думаю, да,— как можно мягче ответил Петр Васильевич, заметив легкое недовольство жены. Ссориться в такое чудесное утро никак не входило в его планы.— Устал я, как раб на галерах. Буду проситься в отпуск. Специально попросил одно легкое дело. Закончу— и...— Сидоренков сделал ленинский жест рукой, указывая единственно верный путь, которым должны идти товарищи.— Можем, кстати, вместе поехать.

—Нетушки,— решительно возразила Лена.— Недоставало мне за тобой ухаживать еще и в отпуске. Поеду с детьми к бабушке.

—Ну как знаешь,— спокойно согласился Сидоренков, вставая из—за стола.— Сделай на вечер вареничков, а?

Лена молча кивнула головой.

Одевшись в свой обычный штатский френч, который стал его одеждой на все случаи жизни, Петр Васильевич вышел на улицу. Ожидание замечательного утра его не обмануло. Дышалось легко и свободно. Везде хозяйственно сновали воробьи, чирикавая между собой на вечные темы; ласточки то стремительно пикировали вниз, то с такой же быстротой стремились к небу, наполняя воздух движением. Тенькали беззаботно синицы. Как лакированная, блестяла молодая листва деревьев, зеленели лужайки с желтыми глазами одуванчиков то там, то сям. Воздух почти не осязался— отчетливо просматривались самые далекие перспективы, слышался

любой шорох, звонко отдавался малейший звук, доносились далекие людские голоса, гудки машин, звонки трамваев. Хотелось жить и действовать, как все в природе.

Сидоренкова эта утренняя благодать располагала к философским размышлениям. Неторопливо и с видимым удовольствием шагая по немногочисленным еще улицам, Петр Васильевич думал о том, как все–таки капризны и непостоянны в своих желаниях люди. Выживают в самых тяжчайших условиях, и в то же время, когда есть все, что нужно для обеспеченной жизни, начинают кочевряжиться и искать приключений на задницу. Взять хотя бы этого сегодняшнего подследственного. Ну что тебе, мышь ты эдакая, не хватает?! Один из самых известных драматургов страны, да и не только страны. Сейчас в Европе очень модно писать о возрождении национального самосознания, о рабочем движении. Пьесы этого Кулиша ставят в Париже, Берлине, Лондоне, Праге, Варшаве. Самые высокие гонорары, отовсюду течет валюта, разговоры в среде научной и творческой интеллигенции, почет и уважение. Живет в современном доме со всеми удобствами, по соседству с такими же известными писателями и поэтами. Пожалуйста, живи, спорь, советуйся, твори. Нет же, неймется, лезет в политику, на рожон, мнит себя эдаким национальным мессией, который должен освободить народ от какого–то национального гнета. Да какой ты мессия, букашка ты тлетворная?! Да прихлопнут тебя, как муху, как ничтожного комара – и дело с концом. Что ты трепыхаешься, что ты суетишься, что ты людям спать не даешь? Сиди, пиши, и пользуйся всеми благами жизни, которые на тебя, червяка, посыпались, как из рога изобилия. Ты уже сейчас живешь при коммунизме. Нет, таким, как он, не сидится, им надо надувать щеки, раздувать тлеющие угли, чтобы посеять пожар, в котором они же первыми и погибнут. Чем они руководствуются? Что их, как ночных бабочек, гонит на этот погребельный свет? – Сидоренков невольно пожимает плечами и делает недовольную гримасу. Петр Васильевич сам окончил университет – высочайшее по нынешним временам образование – но никак не может понять логику поведения таких людей.

Страна наконец-то пережила трудности революции, гражданской войны, голодовок. Строятся заводы, фабрики, гидроэлектростанции, ликвидирована безработица, ликвидируется вечная всеобщая неграмотность, укрепляются колхозы, несмотря на жесточайшее сопротивление кулачества – жить стало лучше, жить стало веселее, как говорит товарищ Сталин. А врагам все мало. А ведь не двужильные, не железные, и их заставят умолкнуть девять граммов свинца. Посмотрим, какие вы железные.

Приближаясь к месту службы, Сидоренков постепенно ожесточался. Это было необходимое условие его работы. Без ожесточения никак нельзя. Это как в боксерском поединке. Если удар слабый, он только скользит по перчаткам, а нужен мощный, акцентированный удар, чтобы свалить противника наземь, а в случае со следователем – чтобы выпотрошить врага, выжать из него нужные сведения, вытащить изо рта признание – царицу доказательств, как рекомендует товарищ Вышинский, который является высшим научным авторитетом в следственных органах.

Так незаметно, в неспешных раздумьях Сидоренков пришел к месту службы. После моря света, весеннего шума и гама, буйства зелени и красок весны не хотелось входить в угрюмое, холодное, настороженное здание по Институтской 5. Но что поделаешь – работа! Петр Васильевич поздоровался с дежурным – тот молча откозырял – зашел к себе в кабинет, тяжело сел в кресло, отдохнул несколько минут после ходьбы, затем просмотрел бумаги, поступившие вчера вечером, а также предварительные выписки, сделанные в порядке подготовки к допросу, сосредоточился, убрав все личное из себя, и позвонил по внутренней связи: – – Подследственного по делу номер ноль ноль пятьсот двадцать три ко мне.

Через несколько минут конвоир ввел подследственного. Петр Васильевич внимательно всмотрелся, отмечая, как учили, каждую деталь. Это был мужчина приблизительно его возраста с открытым, честным лицом, со спокойным, сосредоточенным взглядом умных, теплых светло-голубых глаз, с высоким, уходящим в небольшую лысину лбом, слегка лоснящимся.

«Ага, ерзаешь, железный», – удовлетворенно отметил Сидоренков. Его заинтересовала и другая особенность подследственного: аккуратный квадратик усов по европейской моде. «Смотрит за собой – значит, любит жизнь», – подумал следователь, мысленно отмечая свою наблюдательность.

Как и положено, руки узника были связаны и заведены назад.

– Товарищ конвоир, развяжите его и пока свободны, – приказал Сидоренков.

Молоденький солдатик снял ремешок с рук арестованного и торопливо вышел. Руки мужчины теперь свободно висели вдоль туловища, сам он стоял неподвижно, слегка перенеся тяжесть тела на левую ногу, видимо, чтобы не казалось, что он стоит навывтяжку.

– Садитесь, – широким жестом пригласил Петр Васильевич и с легкой насмешкой спросил: – по– русски понимаете?

– Так, – кивнул мужчина и мешковато сел на предложенный стул и, в свою очередь, ответил вопросом: – а вы українською розумієтесь?

– Так, – в тон ему подтвердил следователь.

– Я дуже поважаю російську мову, щоб розмовляти нею аби як, – продолжал арестованный, – тому, якщо буде ваш дозвіл, я буду відповідати українською.

«Начинаются выбрыки», – подумал следователь, а вслух сказал:

– Договорились. Начнем по порядку: фамилия, имя, отчество?

– Куліш Микола Гурієвич.

– Гурієвич, – хмыкнул Сидоренков, – и здесь отличились. По–моему, такого имени и в святцах нет.

– У святцах є, – бесстрастно ответил Кулиш.

– Год рождения?

– 1892рік.

– Где родились?

– У селі Чаплинка Каховського повіту Херсонської губернії.

– Социальное происхождение?

– Батько і мати – селяни одвіку, з прадавніх давен, гречкосії.

«Какого же черта тебя понесло в интеллигенты?» – зло подумал Сидоренков.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.